К. ПОГУДОМИНСКИЙ

„А РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ СКАЗКУ?..“

Издательство Детская литература

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сказки потому и называют сказками, что их сказывают. Сказок много. У каждого народа свои; и почти у всякой сказки есть сестры — сказка меняется, смотря по тому, кто и где ее рассказывает. Каждый сказочник по-своему приноравливает сказку к месту и людям. Одни сказки рассказывают чаще, другие реже, а некоторые со временем совсем забываются.

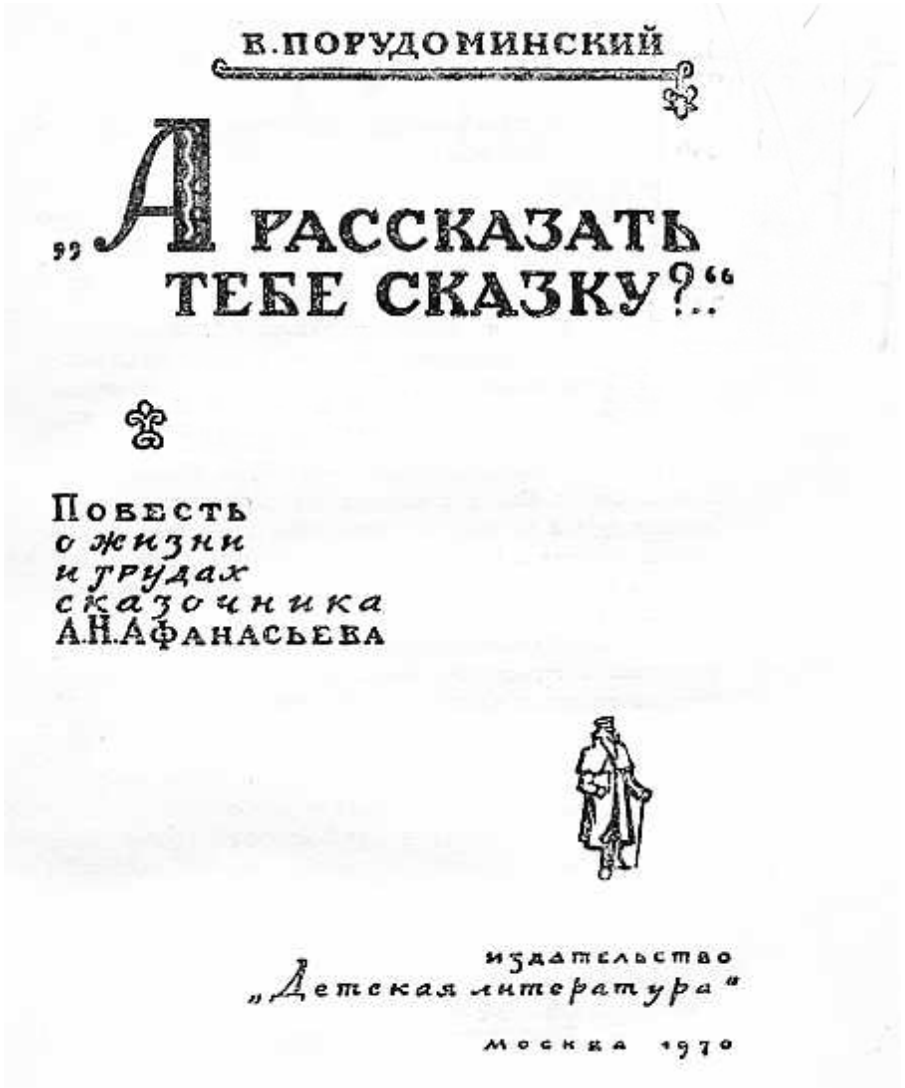
Больше ста лет назад молодой ученый Афанасьев (1826–1871) издал знаменитое собрание русских народных сказок — открыл своим современникам и сберег для будущих поколений бесценные сокровища. Такого собрания нигде в мире нет, и люди благодарно называют его «Сказки Афанасьева».

Главное в жизни Афанасьева — глубокая, деятельная любовь к народу. Она и в издании народных сказок, и в его ученых трудах по истории, мифологии, литературе, и в его живом интересе к русскому освободительному движению.

Об Афанасьеве известно мало. Большинство материалов о его жизни и трудах хранится в архивах. Автору этой повести, В. Порудоминскому, пришлось совершить длинное путешествие в страну свидетелей прошлого, чтобы отыскать нужные сведения, факты, подробности. «А рассказать тебе сказку?..» — первая книга-биография об Александре Николаевиче Афанасьеве.

- Порудоминский Владимир Ильич
  -
  - Вместо пролога. Три царства
  - Ивашечко и ведьма
  - Репка
  - Поди туда — не знаю куда…
  - "А рассказать тебе сказку?.."
  - Лисичка-сестричка и волк
  - Колобок

Порудоминский Владимир Ильич
«А РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ СКАЗКУ?..»
Повесть о жизни и трудах сказочника
А.Н.Афанасьева



Вместо пролога. Три царства

Зачин

Пушкин, в красной мужицкой рубахе, в широкополой шляпе, приходит к Святогорскому монастырю на ярмарку, собирает нищих да слепцов, слушает их песни, сказки.

Вечером отдыхает на лежанке, сказку заводит няня. Брату Льву он сообщает восторженно: «…Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

Дело было осенью 1824 года.

Пушкин записывает в тетрадь нянины сказки. «Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшой…»

Читая записи Пушкина, видим припасы, из которых были потом сложены сказки о царе Салтане, о мертвой царевне, о попе и о работнике его Балде.

«Поп поехал искать работника. Навстречу ему Балда. Соглашается Балда идти ему в работники, платы требует только 3 щелка в лоб попу. Поп радехонек, попадья говорит: «Каков будет

щелк…»

Пушкин размышлял: надо воскресить сказки и песни, чтобы «наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх творческого духа».

Проходят столетия, пока история уляжется в сказку.

Сочинять сказки для Пушкина еще не настало время. Только недавно закончены «Цыганы», поэт трудится над «Борисом Годуновым», продолжает «Евгения Онегина». Правда, пишет стихотворение «Жених», которое потом напечатает с подзаголовком «Простонародная сказка». Несколько лет спустя он также присоединит к «Руслану и Людмиле» знаменитый пролог. Тридцать пять строк — их знает теперь и стар и млад — тоже уходят корнями в нянины сказки: «… У моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».

Замечательные пушкинские сказки появятся позже — в начале тридцатых годов. Для Пушкина, по эго словам, наступит пора обратиться к просторечию, к свежим вымыслам народным. В Михайловском Пушкин еще не пишет, только записывает сказки, восхищается ими.

14 декабря 1825 года в Петербурге, на Сенатской площади, друзья Пушкина открывали новую страницу российской истории. После восстания декабристов Пушкину не до сказок: «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем».

Говорили, будто накануне казни руководителей восстания Пушкину приснилось, что у него выпало пять зубов.

Потом в бумагах Пушкина появится рисунок: виселица с пятью повешенными. Однажды под рисунком Пушкин напишет задумчиво: «И я бы мог…»

Их повесили 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости.

Остальных «бунтовщиков» отправили на каторгу, сослали в Сибирь, на Кавказ.

«Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, — нет возможности: словно каждый лишался своего отца или брата», — вспоминал современник.

Сенатской площадью, кронверком Петропавловской крепости началось царство Николая Первого — мрачное, как царство сказочного Кощея.

Залпами на Сенатской, виселицей в крепости кончилась жизнь одних, жизнь других решительно переломилась. Но были третьи — те, кто появился на свет в одно время с новым царством. Здесь предстояло им вырасти, и набраться сил, и

решить однажды: налево пойти, или направо, или, как подобает добру молодцу, — прямо. То ли служить безропотно страшному Кощееву царству, то ли, надеясь на отвагу и смекалку, потягаться с ним.

…Александр Николаевич Афанасьев родился 11 июля 1826 года.

Дивы дивные

Афанасьев был историк, литератор, журналист. Но для нас он — сказочник. Потомки сами определяют, что для них главное в жизни ушедшего человека. «Народные русские сказки», изданные Афанасьевым сто лет назад, открыли ему дорогу в будущее.

…Живет в сказке кот-баюн, ходит по золотому столбу, пески поет, сказки сказывает.

В стародавние времена сказку называли «басень». От глагола «баять» — говорить. Сказочников называли «бахари», иногда «баутчики», «баяны». Сохранилось также словцо «баюн».

Ходили по Руси бахари, ходили скоморохи, носили по земле сказки.

«Ай потешить вас сказычкой? А сказычка чудесная: есть в ней дивы дивные, чуды чудные…»

Люди теснятся вокруг бахаря, слушают жадно, — каждому охота узнать про дивы дивные. А он стрельнет горячим, хитрым глазом в толпу и не спеша заводит:

— В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, в котором мы живем, на ровном месте, как на бороне…

Говорится в старой басени про кота-баюна: ходит кот по золотому столбу, сказывает сказки про попов, про дьяков, про поповых дочерей, когти точит, на царя их ладит, хочет показать царю «большую страсть».

Били бахарей царские стражники; проповедники в церквах и монастырях запрещали православному люду «баять басни бесовские».

Государь Алексей Михайлович даже в царской грамоте приказал написать:

«…Многие человецы неразумьем веруют в сон, в встречю, и в поглаз, и в птичий грай, и загадки загадывают, и сказки сказывают небывалые, и празднословием и смехотворием, кощунанием души свои губят такими помраченными делами».

Сам же Алексей Михайлович держал при дворе сказочников,

награждал сукном на кафтаны и сапогами.

Да что «тишайший» Алексей Михайлович! Иван Грозный и тот не обходился без сказки: три слепых старика бахаря неотлучно были у царской постели.

Рукопись восьмисотлетней давности сохранила красочную картину: богатому человеку не спится, и «друзи» потешают его перед сном — «возлежащю же ему и не могущю уснути» «нози гладять», «по плечам чешють» и, конечно, «бают», то есть сказки сказывают.

Не всякая сказка для белокаменных палат. Были и такие, что прятались в убогой хижине при коптящей лучине, скрывались в шумной толпе на торговой площади.

Били бахарей, гнали и притеснили сказку, но не бывало такого, чтобы могли без нее обойтись. В богатых хоромах, в заросшей мохом, покосившейся избе — всюду сказка была и любимой утехой, и помощником.

…Темная холодная вода струится по серым от старости доскам, обросшим зеленью. Плотинка перегородила реку. Задыхаясь, громко жалуются на тяжкую жизнь седые жернова. Люди говорят: «Богат мельник стуком». Золотым ручейком сыплется из ковша зерно. В лад стуку мельник говорит сказку. И время бежит быстрей, и, глядишь, больше народу повезет зерно на размол. Народ до сказки охоч.

За лесами, за горами, в студеных северных землях, в краю рыбаков и лесорубов, артельный староста спрашивает по деревням — ищет сказочника. Сказочнику — лишний пай, от тяжелой работы свобода; лишь бы говорил занятно да красиво: с хорошей сказкой дело легче спорится.

В афанасьевское время бродячие бахари да скоморохи почти исчезли. В городском доме помнила сказку нянька, взятая из деревни, помнили кухарка, кормилица. Но главными и самыми искусными сказочниками остались крестьяне. Древняя сказка жила в крестьянской избе; отец дарил ее сыну, бабушка — внучке.

Шагали по дорогам солдаты, на резвых тройках мчались по трактам ямщики, вдоль речных берегов бурлаки тянули бечеву, из села в село переходили бродячие торговцы. С ними вместе двигалась по стране сказка.

Сказок много. И почтя у всякой есть сестры — родные и двоюродные. Сказка меняется смотря по тому, кто и где ее рассказывает. Каждый сказочник по своему вкусу приноравливает, притесывает сказку к месту и людям.

Афанасьев задумал собрать сказки — те, что жили в избе на печке и ночевали на постоялых дворах, таились в углу солдатской казармы и лежали в коробе ходебщика, — собрать и с помощью

книгопечатания возвратить всему народу, сберечь для будущих поколений.

Знакомство на «бабьей ярмарке»

Познакомимся с Александром Николаевичем Афанасьевым в тот день, когда окончательно подготовленный к печати первый выпуск «Народных русских сказок» лег на его рабочий стол.

Для этого нам придется совершить путешествие в Москву 1855 года.

Московские адреса звучали в то время неточно и замысловато — «близ», «возле», «не доходя»; их легко понимали только извозчики и почтальоны. Москвичи шутили: «За Яузой на Арбате, на Петровке, не доходя Покровки, за Серпуховскими воротами, позади Якиманской, в Кожевниках, прошедши Котельников, в Гончарах на Трех горах, на Лубянке, на самой Полянке».

Но Афанасьева найти в Москве но сложно. От Покровских ворот спустимся крутым переулком к Ивановскому монастырю, отыщем дом Главного архива Министерства иностранных дел.

Адрес всем хорошо известный. Афанасьев, подходя к дверям своей казенной квартиры, всегда бормочет по привычке:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят…

При Пушкине в архиве служили молодые люди «из хороших семей» — «архивны юноши». Старики жаловались, что юноши в архиве «балуются», не привыкают к труду.

Теперь, тридцать лет спустя, в архиве сидят опытные, степенные чиновники. Молодые люди не мудрствуют над философскими теориями, над переводами крамольных европейских сочинителей. Просто служат. Некоторые, правда, успевают еще после службы заняться делом. Коллежский асессор Афанасьев, например, — начальник отделения и к тому же известный литератор.

Афанасьев положил начало делу, которым прежде никто по-настоящему не занимался: 27 августа 1855 года он сообщил ученому другу, что на днях отдает в типографию первый выпуск народных сказок.

…28 августа, в канун дня «усекновения главы» Иоанна-крестителя, у стен Ивановского монастыря, прямо возле двери

афанасьевского дома, открывалась — ярмарка. Евангелие рассказывает о пророке Иоанне, которому царь Ирод приказал отрубить голову. День «усекновения главы» почитался праздником, однако полагалось соблюдать строгий пост. В народе праздник называли «Иваном постным».

На «Ивана постного» приезжали в Москву крестьянки продавать шерсть. Холсты продавали и весной, и летом; шерсть берегли до осени (долгими осенними вечерами женщины в московских домах сядут вязать теплые вещи на зиму). Ярмарку называли «бабьей», еще — «шерстяной». Бойкие торгаши скупали у крестьянок товар мешками, тотчас после ярмарки отправлялись по городским дворам — сбывали шерсть втридорога.

Веселье на «бабьей ярмарке» начиналось в самый день «усекновения главы», 29 августа, после обедни, которую служили в церкви Ивановского монастыря. На площади чуть ниже монастырских ворот разбивали белые парусинные палатки под трактиры, устраивали карусели и качели, сколачивали небольшие деревянные балаганы. Сновали по площади сбитенщики и квасники, лотошники с калачами и сайками, торговцы икрой и соленой рыбой. В день праздника, по случаю поста, взамен рыбы носили между рядами мед в сотах, гречишники, овсяный и гороховый кисели. Вдоль монастырской ограды стояли возы с яблоками, орехами, репой и морковью.

В дни ярмарки Афанасьев, должно быть, выходил из дому, шел потолкаться в толпе, послушать прибаутки торговцев, взглянуть, если повезет, на походную «комедь», разыгранную тут же, на свободном пятачке, бродячими артистами.

— А что, староста, хороший у наших мужиков урожай?

— Хороший, боярин-батюшко. Колос от колоса — не слышно человеческого голоса, сноп от снопа — столбовая верста, копна от копны — день езды, тихо едешь — два проедешь…

Пойдем вместе с Афанасьевым по «шерстяной ярмарке» 1855 года.

Это не просто. Бродить, как бродят по ярмарке люди безо всякого дела, он не умеет, не умеет беспечно глядеть по сторонам. Торопливо, будто его подгоняет что-то, он движется от ряда к ряду и смотрит, словно напряженно кого-то высматривает.

Крестьянки суетятся возле продавцов, тут же тратят вырученные за шерсть деньги. Пестрыми ворохами манят разноцветные ситцы; стоят на прилавках высокие башмаки и нарядные коты с красною оторочкою; режет глаз золоченая посуда; и уж вовсе невозможно отойти от лотков с блестящими сережками, серебряными колечками, яркими шелковыми лентами, медными наперстками. Мужиков тянет в трактиры, в

питейные дома.

Бегут по кругу расписные деревянные коняги каруселей, лодки качелей взлетают до самого неба.

Афанасьев торопливо пересекает площадь, но многое примечает. У него взгляд птицы — меткий и быстрый. Длинный нос придает его лицу выражение устремленности. Друзья любят шутить над его носом, сам Афанасьев относится к нему уважительно, с веселой гордостью именует свой нос орлиным.

Афанасьев примечает немноголюдство нынешней ярмарки, натужность веселья, хотя на качелях бабы смеются, вскрикивают в лад взлету и падению: «Оох-оох!» (На карусели ровный протяжный визг: «Иииии…») Мужиков в кабаке меньше, чем обыкновенно на «Ивана постного»: последние рекрутские наборы были велики.

Потери тоже были велики. Из Крыма сообщали: число погибших достигает семисот человек в день. Московские газеты печатали списки пожертвований: вся Россия посылала защитникам Севастополя продовольствие, теплые вещи, бинты, корпию. Но никакой корпией не заткнешь брешь, пробитую российской отсталостью. Зачерствевшие в долгом пути московские сайки не заменят на бастионах недостающих снарядов. В связи с нехваткой боеприпасов в Севастополе действовало секретное распоряжение: на пятьдесят выстрелов неприятеля отвечать пятью. Артиллеристы по случаю православных праздников выпрашивали разрешение стрелять побольше. Противник ежедневно обрушивал на Севастополь восемьдесят пять тысяч снарядов.

В Москве на Тверской открыли «военную панораму»: люди по очереди прижимались лицом к увеличительному стеклу, разглядывали яркие картины, изображавшие победу при Синопе, переправу русских войск через Дунай. Но в толпе распускали нелепый слух, будто француз опять подходит к Бородину. Уличные шарманки и трактирные органы играли песенку про англичанина, который разорил лодку-«лайбу» бедного финляндца. В смешной песенке был свой — несмешной — смысл: английские военные корабли заходили в Балтийское море, появлялись под Кронштадтом.

В душном зале трактира, заглушая гул голосов, ревет музыкальная машина — орган. Стоят на некрашеных столах четырехугольные штофы. Толкаются между пьющими инвалиды. Пустые рукава. Глухо стучат деревяшки по некрашеному полу. Мужики наливают инвалиду стаканчик. Инвалид плачет, уронив голову на стойку.

27 августа русская армия оставила Севастополь.

Молчаливые войска вою ночь уходили из города по наведенному через рейд плавучему мосту. Разыгрался ветер. Мост качало, его захлестывали волны. Под тяжестью повозок и орудий дощатые звенья моста, положенные на осмоленные бочки, внезапно погружались в море. Солдаты и матросы шли молча, не замечая, что промокли, что продрогли под порывистым северным ветром. Ленивое мерцание багровых углей, облако пепла, едкий синий дым… Костром угасал Севастополь. Триста сорок дней героической обороны остались за плечами. А впереди?.. В те дни не было, наверно, человека в России, который не думал напряженно: а что же впереди?..

Мужики с темными потными лицами о чем-то упрямо толкуют, нагнувшись друг к другу. Они замолкают, когда мимо проходит Афанасьев, с его пытливым носом и зоркими глазами. Афанасьев и так знает, о чем они говорят. «Воля, воля…» — по всем деревням только один разговор.

В Воронежской губернии (Афанасьевы оттуда родом) нынешним летом читали по церквам воззвание священного синода, призывающее на брань за родную землю и веру. Прошел слух, что все ратники после службы получат волю. Собирались крестьяне, разоренные поборами, шесть дней в неделю работавшие на помещика, и шли в Воронеж — записываться в ополчение. На подступах к городу крестьян встретил губернатор, приказал возвращаться по деревням: «Надо будет, сам позову». Разошлись, стали ждать, когда надо будет. Прошел новый слух: бары да чиновники скрывают царскую бумагу про службу и про волю. В селе Масловке крестьяне отказались выходить на работы. Власти взялись за розги; но крестьяне говорили: лучше в Сибирь, чем так жить. Явился из Воронежа губернатор с солдатами, скомандовал: «В атаку!» Солдаты кинулись на безоружную толпу, били людей прикладами по голове, по лицу. Осталось на деревенской улице одиннадцать убитых, шестьдесят раненых. Но после состоялся еще военный суд: тех, кто уцелел под прикладами, прогнали сквозь строй.

Про события в Воронежской губернии Афанасьев подробно рассказал в дневнике. Он очень интересовался всем, что касалось положения крестьян. Афанасьев написал, что в Масловке правительство розгами, палками и ружьями унимало любовь к отечеству и жажду свободы.

Афанасьев вел дневник на листках почтовой бумаги с вытисненной в левом верхнем углу картинкой — маленьким паровозом. В народе паровоз называли «машиной». Железная дорога — «чугунка» — соединила Москву и Петербург в 1851 году. В декабре того же года Афанасьев отправился поездом в

столицу. Событие немалое. В письмах родным он рассказывал: «На возвратном пути в Москву поезд наш остановился да простоял на месте, не двигаясь, часов восемнадцать. Целые сутки мы потеряли и были без еды, перемерзли все страшно, ругнули все управление, да и стоило. Что за неурядица: то дров не хватает, то вода вся, и надо накладывать снегу и дожидаться, пока он растает…»

Маленький паровоз вытиснен на почтовой бумаге: три колеса к высокая труба. Из трубы валит клубами дым, его словно относит встречным ветром, но спицы у колес изображены неподвижными. «Машина» стоит.

…Крутятся на одном месте ярмарочные карусели; деревянные коняги слились в сплошную серую полосу.

Афанасьев поворачивает домой. Ярмарка, конечно, не получилась. Деревни разорены; хлеб вздорожал, а шерсть дешева. С «бабьей ярмарки» расстроенное хозяйство не залатаешь.

Неудавшаяся ярмарка, разоренные деревни, избиение в Масловке, падение Севастополя и «машина» под парами, которая не может стронуться с места, — все скручивалось в нечто единое, чего ждали и о чем говорили: «эмансипация», «изменение внутреннего устройства» или яснее: «отмена крепостной зависимости».

Афанасьев чуть замедляет шаг. На пятачке, там, где расступилась толпа, «ломают комедь»:

— Поди-ко, большие дома мужики то строят?

— Большие, боярин-батюшко. Собачки бежат, в окошечко глядят. Курицы на крышу вылетают, с неба звезды хватают, Петух идет, полмесяц волокет…

Дома у Афанасьева припрятана напечатанная за границей крамольная брошюра с речью Александра Герцена — «Искандера». На митинге в Лондоне Герцен говорил: «Воля России начнется с восстания крепостных или с их освобождения».

Открыватель сказочных земель

Проживем этот день с Афанасьевым, заглянем в его рабочий кабинет, где лежит на столе аккуратно переписанная набело будущая книга сказок.

Афанасьев садится в кресло, в который раз перелистывает рукопись. И, как всегда, не выдерживает — начинает читать сказки.

Афанасьев любит сказку про три царства.

…Ивашко пошел искать невесту и встретил змея о трех головах. Змей привел его к большому камню, под камнем была дыра в землю. Ивашко спустился в дыру. Сперва он попал в Медное царство, потом — в Серебряное и в Золотое. В каждом царстве ждала его прекрасная девица. Девица из Золотого царства согласилась стать Ивашкиной женой. Пошли они обратно вместе. По дороге взяли с собой девицу из Серебряного царства и девицу из Медного и пришли к дыре, откуда на землю вылезать. У дыры ждали их Ивашкины братья. Они тоже искали себе невест, да не нашли. Вот стали братья их вытаскивать. Девиц вытащили, а Ивашку оставили под землей: «Пожалуй, вытащим его, так он нам ни одной девицы не даст». Поплакал Ивашко и снова отправился свое счастье искать. Встретил старика — сам с четверть, борода с локоть, у Идолища побывал, у Бабы-Яги, заполучил орла-птицу, сел на него, своим мясом кормил — орел и вынес его на Русь.

Золотым царством открывается Афанасьеву в сказках древнейшая жизнь народа. Жили во глубине веков поэты, в чудесных образах увидевшие мир вокруг, — они творили сказки.

Афанасьев, как и Пушкин, в «первоначальных играх творческого духа» хотел наблюдать историю народа. Хотел понять, что скрыто за сказочными образами Солнца, Месяца, Ветра или Морозка, за образами птиц и зверей, волшебных чудовищ — Бабы-Яги, Идолища, Кощея; хотел понять, откуда взялись и что означают странные чары и обряды, таинственные загадки, приметы, сны. Он хотел разгадать сказку и увидеть в ней картины древнейшего быта славянских племен.

Но Афанасьев знал, что можно и просто наслаждаться сказкой как поэзией, наслаждаться ее светлым, спокойным тоном, недокучливыми повторами, покоряющим однообразием зачина и исхода — этими «жили-были», «стали жить да поживать, да добра на живать»; наслаждаться ее младенческой наивностью, ясной верой в добро, теплой любовью к природе и обаятельной силой чудесного.

Об этом Афанасьев писал в предисловии к первому выпуску «Народных русских сказок»…

Черный лохматый кот, по имени Котофей Иваныч, прыгнул Афанасьеву на колени; выгибая шею, стал тереться ухом о жилет, громко замурлыкал.

За окном стемнело. Стихает ярмарка. Все медленнее движется толпа вокруг высокого шатра с елкой, стоящего посредине площади.

Афанасьев не зажигает огня. Отложил рукопись, сидит в кресле, почесывает Котофея Иваныча за ухом. Котофей мурлычет,

заливается. Невдомек Котофею, о чем помалкивает хозяин.

…Жил-был в стародавние времена Котофей-Иванычев тезка. Выгнали шкодливого кота из дому, ушел он в лес, на хитрой лисе женился, всех зверей сумел напугать. Даже Михайло Иваныч — медведь и волк Левон Иваныч кланялись ему быком да бараном.

Жили в сказочных лесах и другие могучие коты — Котай да Котонайло Иванычи.

А то был Кот Котонаевич; этот дружил с Петей-петушком, охранял его от хитрой лисы, да не уберег. Попался глупый петух на приманку. Понесла его лиса за темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам.

Афанасьев, правда, знает сказку и про то, как Кот Котонаевич спас петушка, купил себе кафтан, красные сапожки, шапку, сумку, саблю да гусли и пошел к лисицыной избе:

Идет кот на ногах,
В красных сапогах,
Несет саблю на плече,
А палочку при бедре,
Хочет лису порубить,
Ее душу загубить!..

…Котофей Иваныч внезапно соскочил с колен, сверкнул глазами и растворился в темноте.

Повезло тебе, Котофей, что хозяин не верит в старинные предания: считалось, будто из черной кошки можно выварить кость-невидимку, — если взять ее в рот, станешь невидимым. Да и шапку-невидимку можно добыть у нечистой силы не иначе, как в обмен на черную кошку.

Афанасьев думает, что шапкой невидимкой первые сказатели сказок, может быть, назвали туман, облако. Он вспоминает: в древности с темной кошкой с горящими ее глазами сравнивали мрачную тучу, сверкающую зоркими молниями. На Руси «черная кошка» говорили про дым (как про пламя — «красный петух»), а загадка «белая кошка лезет в окошко» означает рассвет.

Сколько веков, тысячелетий назад поселилось в человеческом жилище это привычное и всегда загадочное существо — кошка. И ничего-то в ней такого нет — усы, когти да хвост. Но человек издревле приглядывался к кошке — складывались приметы: кошка умывается — к дождю; распускает хвост — к метели; ложится брюхом вверх — к теплу; прячет под себя морду — к морозу… Человек видел в кошке таинственную связь со стихиями.

В сказке ходит кот-баюн по золотому столбу, а голос у кота

сильный — всякого сперва оглушит, а потом в сон повергнет. Афанасьев думает, что здесь, возможно, лежит начало древнейшей поэзии: кот означал для творцов сказки тучу, его песни — громовые раскаты, а неодолимый сон, который они наводят, — оцепенение природы под холодным дыханием ветра.

Афанасьев хочет понять, как сложили сказку, разгадать изначальный смысл сказочных образов.

(«Фффф…» — шипит где-то в углу Котофей Иваныч.)

Входит в комнату старый инвалид, сторож при архиве, зажигает свечи.

Лежит на столе рукопись — первый выпуск народных сказок, которые Афанасьев намерен издать. Пять лет он готовился к этому дню, готовился *начать*.

Лежат в ящиках стола еще сказки, но пока немного. Хотя на второй выпуск, наверно, хватит.

Надо раздобывать новые сказки, надо подбирать и сравнивать записи одной и той же сказки, сделанные в разных местах.

Сказка про три царства, например, известна в сорока пяти записях.

Так что Афанасьев только спустился в таинственный мир сказки, только идет к Медному царству. Но он успеет дойти до Золотого царства и отыщет птицу-орла, который вынесет его на Русь,

Афанасьев вынесет на Русь шестьсот сказок. Каждая из них могла быть утеряна, позабыта, каждую знали в определенной местности и лишь немногое число людей.

Сам Афанасьев редко записывает сказки. Но в разных губерниях России живут незаметные люди — учителя, врачи, гимназисты, чиновники, — они слушают сказки, собирают их. Афанасьев задумал объединить и сохранить разрозненные сокровища. Он составит и издаст сборники под названием «Народные русские сказки», подарит их всему народу и навсегда.

Пройдут годы — сказки будут выходить под заглавием «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева».

Не «Сказки, собранные…» и не «Сказки, изданные…» — имя его присвоено сбереженным им сказкам так же, как присваивают имена открывателей новым землям или законам науки: «остров Врангеля», «таблица Менделеева», «сказки Афанасьева»…

Ивашечко и ведьма

«Гуси мои, лебедята…»

В детстве Афанасьев, наверное, слышал много сказок и в детские годы полюбил их на всю жизнь. Возможно, и няня была у него — своя Арина Родионовна, — сказывала ему сказки.

Потом Афанасьев вспоминал, что зимними вечерами с «наслаждением и трепетом» слушал сказки какой-нибудь дворовой женщины.

Подробностей Афанасьев не сообщает. Но зато знаем, что сказка в его детстве была.

…Жили себе дед да баба, у них был один сыночек Ивашечко. Сел он однажды в челнок, поплыл ловить рыбу. Заметила его ведьма, стала звать материнским голосом. Подплыл к ней Ивашечко, она схватила его и унесла к себе. Приказала дочери растопить печь, зажарить Ивашка. Но Ивашечко обманул ведьмину дочку и убежал. Взобрался на высокий дуб. Стала ведьма грызть дерево. Грызет, грызет — вот-вот дуб наземь рухнет. Сидит Ивашечко на самой вершине, не знает, что делать. Смотрит — летят гуси-лебеди. Просит их Ивашечко:

Гуси мои, лебедята,
Возьмить меня на крылята…

Подхватили птицы мальчика и понесли…

Детство Афанасьева прошло в уездном городке Боброве Воронежской губернии.

В собрании Афанасьева есть с десяток сказок, записанных им самим в Бобровском уезде. Может быть, эти сказки запомнились Афанасьеву с детства? Среди них «Ивашечко и ведьма».

Заманчиво изобразить Афанасьева с младенчества сказочником. Но мысль издать народные сказки пришла к нему уже в зрелые годы; путь Афанасьева к сказке интересен, не будем лишать его поисков, сомнений, открытий.

Хотя долгие зимние вечера, заполненные сказками, след в его душе, конечно, оставили, иначе откуда «наслаждение и трепет», которые охватывали его, когда он слышал сказки, «наслаждение и трепет», которые он не позабыл до конца дней?

Афанасьев, уже известный литератор, написал однажды воспоминания о своем детстве.

Он говорил, что записки частного человека могут быть интересны и нужны, если в истории одной жизни удается показать жизнь общества.

Детство человека афанасьевского времени похоже на сказку про Ивашечку, которого украла ведьма. Только детство не всегда кончалось так же счастливо: мало кому удавалось выбраться с ведьминого двора. Одних ведьма заталкивала в печь, другие с ведьмой сговаривались и вместе с ее гостями весело катались-валялись на траве, чужого мяса наевшись. Нужно было перехитрить ведьму, взобраться на вершину высокого дуба, увидеть, как белой птицей летит в безоблачном небе мечта, унестись с нею в будущее.

«Сокрушение личности». Отцы Иваны

Много лет спустя Афанасьев напечатает в журнале выдержки из старинного стихотворения:

Розги малому, бича большем требе,
А жезл подрасшим при нескудном хлебе…
Розга ум острит, память возбуждает
И волю злую во благо прелагает…
Целуйте розгу, бич и жезл лобзайте;
Та суть безвинна, тех не проклинайте
И рук, яже вам язвы налагают;

Ибо не зла, но добра желают…

В стишке говорится о жизни, с младенческих лет построенной на битье. Меняются только орудия: розга, бич, жезл (то есть палка). Стишок требует признать такую жизнь идеальной — лобзать розгу, и кнут, и руку того, кто наносит тебе побои. Афанасьев в короткой заметке объясняет, что старинное стихотворение рассказывает про жизнь, главное правило которой — «бей, сокрушай личность».

Афанасьев жил в царстве сокрушения личности.

…Царство начиналось в просторной истопленной комнате, пропахшей кислой сыростью.

Мальчики и девочки пристроились вокруг стола на высоких, неудобных скамьях, хором выкрикивают латинские глаголы.

Бобровский священник, отец Иван, сидит во главе стола, в лад крику постукивает линейкой. Время от времени мерное постукивание прерывается, линейка взлетает высоко над столом и со свистом опускается на ребячьи руки. Это называется «бить пали».

«Ква-ци-о — ква-цис… — не отрывая глаз от линейки, стараются перекричать друг друга ребята. — Кватит — квасус!..»

Никто не понимает, что кричит. Спрашивать бесполезно: отец Иван давно успел позабыть семинарскую премудрость. Нос отца Ивана подернут синевой, бесцветные глазки мутны, в рыжей бороде застряли крошки; на другом конце стола слышно, как от батюшки пахнет вином.

«Ква-ци-о — ква-цис… — постукивает по столу линейка. — Ква-тит — ква-сус…»

«Хватит квасу!» — вдруг, сам того не ожидая, говорит Саша Афанасьев. Линейка взмывает ястребом. Руки убирать нельзя — хуже будет. «На колени!» — приказывает отец Иван. Мальчик плетется в угол. По сырому полу тянет холодом. Стоять придется долго — час, а если позабудет про него отец Иван, то и два.

Афанасьев стоит на коленях, лицом к грязной, некрашеной стене. Он вдруг вспомнил, что глагол «кватио» означает — бить, мучить. Вылез из щели веселый рыжий таракан, подмигнул мальчику, сказал что-то по-тараканьи, пошевелил усами и пополз вверх. Афанасьев печально провожает его глазами.

Ноют колени. Однако на этот раз еще повезло: отец Иван позабыл бросить на пол пригоршню гороха. Холод пробрался под рубашку, Афанасьева познабливает. Он думает о чем-то, чтобы время бежало быстрее, и дремлет одновременно. Наверно, мечтает о несбыточном, как все дети; сочиняет сказку. Вот

пролетят гуси-лебеди, подхватят его, унесут. Отец Иван глянет в угол, а там пусто.

Священников в Боброве двое, и оба — отцы Иваны. Ребят посылают учиться если не к одному попу, так к другому. Улетать некуда.

Отцы Иваны всячески стараются «сокрушать личность»; заставляют учеников бить друг друга по лицу, таскать за волосы, отправляют виновного гулять по улицам в вывернутой наизнанку шубе или кладут его на пол у самой двери, чтобы остальные через него перешагивали. Ребята подрастают и трусливые, и жестокие, на ведьмином пиршестве их можно и в печь, и за стол с гостями.

Святые отцы перешагивают на глазах у ребят через любовь к ближнему, добро, скромность, о которых сами же без конца твердят и на уроках, и в церкви. Дерут три шкуры за панихиду, за крестины, обманывают, пьянствуют, И это тоже «сокрушает Личность». Афанасьев вспоминал, что поповская жадность, притеснения мужиков-прихожан не были для детей добрым примером.

Дети знали сказку про попа, который согласился хоронить по-христиански мужицкого пса. Старый пес рыл лапами землю и выкопал котелок с золотом. Когда пес помер, мужик пришел к попу и сказал: «Батюшка, у меня помер кобель и отказал тебе пять тысяч денег, чтобы ты похоронил его по обряду». Поп согласился. Узнал про это архиерей и, посадил попа под арест. А мужик к нему: «Так и так, помер у меня кобель и отказал вашему преосвященству десять тысяч денег и батюшке пять». — «Да, братец, я слышал про то и посадил попа под арест, зачем он, безбожник, как нес кобеля мимо церкви, не отслужил по нем панихиды».

Попы выходили в сказке самыми большими безбожниками.

Еще рассказывали якобы не сказку, а быль: про попа который, чтобы отобрать у мужика деньги, натяну на себя свежую козлиную шкуру и прикинулся чертом. Мужик отдал ему деньги, поп не смог содрать с себя шкуру — она приросла к телу.

Эта история, которую передавали вначале как достоверную, понемногу превратилась в сказку. Четверть века спустя Афанасьев получит ее в записи и, после долгой тяжбы с цензурой, сумеет поместить в свое издание сказок.

История про «попа рогатого» пошла гулять в народе незадолго до восстания декабристов. В Петербурге огромные толпы сходились то к Казанскому собору, то к Невскому монастырю, — говорили, что там будут показывать попа в несдираемой козлиной шкуре. Люди верили: хоть один-то поп должен быть наконец награжден козлиными (а может,

чертячьими?) рогами, бородой и копытами!..

Ребята учились у отцов Иванов не правилам российской и латинской грамматики, в которой батюшки и сами не были сильны, — учились жестокости, обману и стяжательству. Эта «наука» вытравляла из детской души мечту о белых птицах, которые прилетят когда-нибудь, подхватят, унесут.

Но не всякий хотел расставаться с мечтой…

Умение «дорожить собой»

Скоро Афанасьев понял, что справедливость с неба не падает и белые птицы ее не приносят, — за нее надо бороться самому.

В Воронежской гимназии, куда его определили продолжать ученье, воспитывали по всем правилам старинной школьной науки — розгой. Из окон класса всякий день открывалась одна и та же картина: через двор идет инспектор, за ним сторож, а следом толпа гимназистов, которых ведут в канцелярию — сечь. При гимназии дежурили солдаты. Это были опытные мастера, они секли умело и беспощадно.

По гимназическому уставу порка полагалась только в трех низших классах. Но устав часто нарушали. Никто не жаловался. Никто не возражал. Пороли не только в Воронежской гимназии, по всей России хозяйничали розга, шпицрутен, кнут.

Афанасьева высекли однажды в третьем классе за то, что свистнул на уроке.

В четвертом классе инспектор застиг его, когда он дрался с приятелем. Инспектор тут же приказал всыпать обоим горячих. Приятель, размазывая по лицу слезы, поплелся в канцелярию. Афанасьев туда не пошел. Он схватил фуражку и бросился домой. Впрочем, дома у него в ту пору не было: семья жила в Боброве, а его поселили в Воронеже на квартире у одного из учителей. Афанасьев прибежал на квартиру, дрожа как в лихорадке. Но не безотчетный страх толкал его и не надежда на чудесное избавление от наказания. Уже взрослым он вспоминал, что сердце его бешено колотилось от негодования: в четвертом классе его *не имели права сечь*.

За Афанасьевым прислали солдата, но мальчик отказался идти и с солдатом. Он вообще отказался ходить в гимназию, пока не добился от начальства обещания, что сечь его не станут.

Он подчинялся уставу, который предписывал быть биту в трех низших классах, но не желал ложиться под розги по

привычке или в угоду начальству.

Гимназист четвертого класса Александр Афанасьев потребовал уважения к своим правам.

Поведение Афанасьева было столь необычным, что начальство даже растерялось. Учитель Добровольский, у которого Афанасьев жил на квартире, писал отцу самолюбивого гимназиста: пришлите согласие на применение розог. И объяснял: дело не в том, чтобы высечь, — надо сокрушить гордость, самолюбие, «строптивость». «Доброе дело образования» имеет целью воспитание людей, готовых всякую минуту лечь, не рассуждая, под начальственную лозу. Добровольский не имел никакого отношения к наказанию Афанасьева, он сел за письмо, потому что был поражен происходящим, жаждал поставить все на свои места. Он полагал — уж кто-кто, а отец Афанасьева, уездный чиновник не из важных, понимает необходимость повиновения и лобзания бича.

Но, видно, не всегда можно ставить себя на место другого. Отец Афанасьева не дал согласия на розги. Напротив, отвечал: он радуется, что сын его «дорожит собой».

И Афанасьева не высекли.

Афанасьев всю жизнь умел дорожить собой в царстве, где предписывалось лобзать розгу и бич.

«Сокрушение личности». Гимназия

«Дорожить собой» означало неповиновение. Это было преступлением самым страшным.

Когда весь класс в ответ на несправедливость учителя греческого языка отказался отвечать урок, в гимназии создали следственную комиссию. Учеников вызывали на допросы, устраивали им очные ставки, вели протокол. Выросло дело о «возмущении» в шестом классе Воронежской гимназии, о «бунте». Мальчики всерьез готовились к аресту, к солдатской службе, к ссылке на Кавказ. Зачинщиком «бунта» признали Афанасьева, целую неделю его держали в карцере.

Историю замяли, потому что само гимназическое начальство боялось докладывать властям о «бунте» во вверенном ему учебном заведении.

Все воспитание на том и строилось, чтобы выбить из детей дух неповиновения, «бунтарства», желание «дорожить собой».

Учитель латинского языка заставлял ребят часами стоять

согнувшись дугою, иногда он взбирался верхом на ученика и приказывал возить себя по классу. Малышей он брал за галстук и с криком: «Я повешу тебя!» — поднимал на воздух.

Учитель словесности, ханжа и святоша, читал на уроках молитвы, задавал переписывать славянским шрифтом Евангелие. Он требовал, чтобы в сочинениях гимназистов непременно говорилось о колокольном звоне, заутренях и обеднях. Пушкина учитель называл безбожником, все романы без исключения считал ересью, а из русских писателей признавал одного Жуковского, о котором, впрочем, тоже ничего рассказать не мог.

Учитель немецкого языка на уроках спал. Учитель французского рассказывал бесконечные истории о своей собачке. Математик придумал «игру в ладушки», от которых руки гимназистов потом весь день горели. Физик ставил учеников коленями на край стола…

Афанасьев недаром подробно рассказывает в своих записках о правах — точнее, безнравственности — учителей Воронежской гимназии. Воронежские учителя — не случайные люди, их поведение — не страшный анекдот. Невежество, жестокость, непрерывное оскорбление достоинства были чертами общества. Гимназия готовила людей, нужных времени и обществу. Учителя, которые вызывают у потомства возмущение и смех, считали своим долгом воспитывать себе подобных.

Во времена афанасьевского ученичества настоящим человеком, просвещенным, исполненным уважения к себе и другим, можно было стать не *благодаря* гимназии, а *вопреки* ей.

Детское чтение

Афанасьева спасли книги.

Читать он научился рано. В Боброве, в отцовском доме, стояли на мезонине дедовские, темного дуба, тяжелые шкафы с книгами.

Чуть зазеваются взрослые, мальчик крадется на мезонин. Подтаскивает громоздкий, старинный табурет к давно не мытому, заросшему пылью окошку. Замирая, отворяет скрипучую дверцу шкафа. Достает книгу, примеченную еще накануне…

Час проходит, другой, третий. На мезонине холодно, не топят. Не отрывая глаз от книги, мальчик дует на посиневшие пальцы. Внизу его уже ищут. Мальчик слышит голос отца: «Где Саша? Опять наверху?..» Жалобно скрипит лестница под

отцовскими шагами. Саша спешит: осталось девять страниц. Ну хоть до конца главы дочитать, хоть до точки… Отец больно сжимает в своей ладони его замерзшую руку, ведет вниз по лестнице, привычно выговаривает ему: нельзя без спроса лазить на мезонин, нельзя читать «взрослые» книги. Перед глазами мальчика еще тускло поблескивают золотом названий заманчивые, красные и черные, книжные корешки.

Отец сердится недолго, больше для порядка. Ребят он жалеет: растут без матери, сироты. Да и разве это грех, что получился из Саши завзятый книгочей? Глядишь, вырастет дельным человеком. Отец понимает силу просвещения: он и сам, чиновник средней руки, благодаря своим познаниям пользуется уважением во всем уезде.

Отец гладит Сашу по голове — хватит дуться, вынимает из портфеля припасенный для сына свежий номер журнала.

Пушкин был еще жив, в журналах печатали новые его творения. Может быть, вот так, однажды, маленький Афанасьев открыл журнал «Библиотека для чтения» и прочитал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» или «Сказку о золотом петушке».

Но знаем, что читал в детстве Афанасьев, зато знаем, *как* читал.

Самый вид книги завораживал его: он не в силах был прейти мимо, не перелистать. Знакомые удивлялись — почти всякую книгу читал он с интересом, во всякой отыскивал что-нибудь нужное. А удивляться нечему: жизнь показала, что Афанасьев многим интересовался, о многом думал.

Семь гимназических лет Афанасьев прожил, вместо с другими мальчиками из уездов, на квартире у преподавателя Добровольского. Квартира была пропитана запахом прогорклого гусиного сала. В учительском доме царила скупость. "Учитель не довольствовался деньгами, которые присылали родители гимназистов, он наживался и на скудном ребячьем довольствии. Дети враждовали из-за ломтика хлеба, из-за кусочка сахара. Голодными зверьками рыскали по комнатам в надежде стянуть горбушку ржаного, слизнуть стакан подкисшего молока, подхватить яблоко.

Речи их становились лживыми и грубыми, шалости — жестокими.

Семь гимназических лет Афанасьев жил впроголодь, без своего угла, куда можно сбежать, без добрых людей, за которыми хочется пойти. Но он читал. Он убегал в книгу, шел за ее героями. Он всегда хотел есть, но за обедом глотал пустой суп, неловко изогнувшись, и косил глазом в книгу. Кто-нибудь из соседей

успевал стянуть у него тощую пайку хлеба. Учителево семейство смеялось: «Так и надо. Не зевай. Держи свое крепче». Но он читал.

Если искать у Афанасьева талант, который сызмальства в нем открылся, то это любовь к чтению, умение читать. Такой талант даром не пропадает. Учителя не сумели помешать Афанасьеву стать знающим человеком. Знания, почерпнутые из книг, взял он с собой, как сказочный меч-кладенец, когда отправился искать свое будущее.

Репка

«Старые погудки» и «новый лад»

Сказка про репку, которая выросла большая-пребольшая, в сборнике Афанасьева рассказывается так: сперва репку тянет дедко, потом к нему на помощь приходит бабка, потом — внучка, потом — сучка; знакомых нам кошки и мышки нет, вместо них является «нога», за ней «друга нога», за ней третья и так далее. Каждая «нога» берется за предыдущую, а первая «нога» за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедка, дедко за репку, тянут-потянут…

Нужно помянуть тех, кто до Афанасьева издавал и собирал сказки, хотя вряд ли кого можно назвать предшественником Афанасьева: он строил все дело по-новому — *начинал*. Но люди, которые до него пробовали вытянуть из земли сладкую, ядреную репку русской сказки, старались по разумению своего времени. Репка поддается не потому лишь, что пришла пятая или двадцать пятая «нога», а потому, что «нога» пришла вовремя.

Афанасьев вовремя взялся за издание сказок; невозможно умалить его труд — никто другой не сумел сделать того же — и все-таки время, как увидим, помогало Афанасьеву.

Однако наша сказка про репку начинается за сто лет до первого выпуска афанасьевских сказок.

Она начинается в восемнадцатом столетии, когда стараниями

Петра и его сподвижников Россия повернула на новый путь и зашагала широко.

Петр приказывал воеводам следить, чтобы подданные своих детей «сколь возможно чтению и письму обучали». В восемнадцатом столетии читателей в России очень прибавилось.

Литература вошла в силу: во второй половине века издавали свои сочинения Ломоносов, Сумароков, Фонвизин, а следом Радищев, Державин, Карамзин. Но был читатель, которого называли «непросвещенным»: небогатый дворянин из тамбовского или пензенского поместья, московский купец, тульский ремесленник, крестьянин, обученный грамоте. «Непросвещенный» искал чтения занимательного. Ходили по рукам романы и повести, изобилующие удивительными приключениями — путешествиями, сражениями, встречами с разбойниками; иные из этих повестей больше походили на волшебную сказку. Известные истории о Бове-королевиче и о Еруслане Лазаревиче, занесенные к нам от других народов, так полюбились русскому читателю, столько пересказывались, что с годами и вправду превратились в народную сказку. Пушкин ребенком узнал о Бове не из книг, а от няни Арины Родионовны. В стихах он вспоминал «о прелести таинственных ночей», когда «мамушка» «в чепце, в старинном одеянье» шепотом рассказывала ему «о мертвецах, о подвигах Бовы».

Занимательные истории, полуроманы-полусказки, соперничали с литературой — и успешно. Поэт Сумароков жаловался: чем «над рифмами потеть», лучше, оказывается, писать про Бову. В журнале того времени говорилось с возмущением, что сказок продано гораздо больше сочинений г. Сумарокова». «О времена, о нравы? Ободряйтесь, российские писатели, сочинения ваши скоро и совсем покупать перестанут».

Составитель сборника, вышедшего в самом конце восемнадцатого века под названием «Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок», объяснял в предисловии: «Зная много людей, кои большую охоту имеют до старых погудок…я в удовлетворение их желания столько, сколько мог заимствовать от разных рассказчиков, снабдивших меня сею материею, собрал и читателям моим сообщаю».

Жил в России писатель Василий Левшин. Человек этот хорошо понимал, какие книги ждет читатель. Он занимался не только литературой — писал труды по сельскому хозяйству, домоводству, писал о различных ремеслах, об охоте.

Василия Левшина можно бы назвать первым составителем собрания русских сказок. Он выпустил их в десяти томах,

озаглавленных: «Русския сказки, содержащия Древнейшие Повествования о славных Богатырях, Сказки народныя, и прочия оставшияся чрез пересказывание в памяти Приключения».

«Русские сказки» Левшина выходили в 1780–1783 годах. В десяти томах уместились занимательные истории, до краев наполненные приключениями, волшебными и не волшебными, русские былины, пересказанные как сказки, и несколько подлинных народных сказок, переделанных, однако, на книжный лад.

Интересно послушать, что говорит Левшин о цели своего издания:

«Издать в свет книгу, содержащую в себе отчасти повествования, которые рассказывают в каждой харчевне, кажется, был бы труд довольно суетный; но я уповаю найтить оправдание мое в следующем…

Романы и сказки были во все времена у всех народов; они оставили нам вернейшие начертания древних каждыя страны народов и обыкновений, и удостоились поэтому предания на письме, а в новейшие времена, у просвещеннейших народов, почтили оные собранием и изданием в печать…

Россия имеет также свои, но оные хранятся только в памяти; я… издаю сии сказки русские с намерением сохранить сего рода наши древности и поощрить людей, имеющих время, собрать все оных множество…»

Еще не приспело время «собрать все оных множество», но «людей, имеющих время», оказалось немало.

Сборники сказок выходили в довольном количестве:

«Мужик, ищущий чести, рассказчик забавных басен», «Веселая старушка, забавница детей, рассказывающая старинные были и небылицы», «Старичок-весельчак, рассказывающий давние московские были», «Сова, ночная птица, повествующая русские сказки, из былей составленные», «Лекарство от задумчивости и бессонницы, или Настоящие русские сказки»…

Заголовки не просто забавны: язык заголовков книжен, так книжными были переделки сказок. По сборникам можно порой судить, какие сказки бытовали в народе, но дух народной сказки в них почти не сохранен. Сказки приноровлены ко вкусу читателя, привыкшего иметь дело с занимательными романическими историями. Во всякое время сеют и взращивают свою «репку».

Левшина отругали в газете «Санкт-Петербургский вестник» именно за те несколько сказок из его десятитомника, которые оказались ближе всего к настоящим народным: «Из прибавленных издателем новых сказок некоторые: как-то о воре Тимохе, Цыгане и проч., с большею для сея книги выгодою могли бы быть

оставлены для самых простых харчевен и питейных домов, ибо всякий замысловатый мужик без труда подобных десяток выдумать может, которые ежели все печати представить, жаль будет бумаги, перьев, чернил и типографских литер, не упоминая труда господ писателей».

Нужен был интерес к жизни народа, его истории, его мечтам и помыслам, интерес к тому, что может выдумать «замысловатый мужик», чтобы «печати представить» не изобретенные «небылицы», не литературные поделки и переделки, а подлинные творения народной поэзии. Об этом, должно быть, думал Пушкин, когда говорил, что желал бы «воскресить песнопения баянов, сказки и песни веселых скоморохов».

Пушкин советовал молодым писателям изучать простонародные сказки и для того, чтобы видеть свойства русского языка.

Но бережно относиться к сказке, сохранять ее как великую ценность, — этому тоже учатся не сразу, и не всем это доступно. Сказки, сочиненные Пушкиным, народ признал своими, а через год после гибели Пушкина некто Богдан Бронницын издал пять народных сказок, изложенных разукрашенным, как пасхальное яичко, якобы «народным» языком. Бронницын уверял читателей, что записал сказки «со слов хожалого сказочника, крестьянина из Подмосковной»; крестьянин, возможно, и был, да Бронницын ему не доверился: он услышал сказку в людской, а потом поднялся в господские покои и пересказал ее так, как принято в гостиной.

Бронницын назвал книгу «Русские народные сказки» — это не точное название. Владимир Иванович Даль за шесть лет до Бронницына придумал для своих сказок более честный заголовок: «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским…»

Казак Луганский — псевдоним Даля. В заголовке Даль признался, что не сохранил народную сказку, как она есть, «переложил» ее, «приноровил», «разукрасил».

Владимир Иванович Даль всю жизнь собирал слова и составил непревзойденный «Толковый словарь живого великорусского языка». Всю жизнь он собирал пословицы и подарил людям другое замечательное издание: «Пословицы русского народа». Он собирал также лубочные картинки, песни, сказки.

Даль был молод, когда издал книгу своих сказок. С годами он сделался мудрее и осмотрительнее. Он собрал тысячу народных сказок и не стал их ни «приноравливать», ни «разукрашивать». Он

почувствовал и понял их самобытную силу и красоту. Почувствовал и понял, что соперничать с народом в поэзии бессмысленно и не нужно. Сказка — это мысль и слово, которые народ обтачивал веками. Нужно принять из рук народа созданное им сокровище, сберечь его.

Стоит подумать над тем, как изменилось отношение Даля к сказке: здесь отразился взгляд времени. Сказки-поделки на манер народных — это у Даля от прошлого. Взгляд нового времени высказал Белинский. Он предлагал записывать сказку «под диктовку народа», говорил, что надо благодарить «тех скромных, бескорыстных тружеников, которые с неослабным постоянством, с величайшими трудами и пожертвованиями собирают драгоценности народной поэзии и спасают их от гибели забвения». Даль встал в ряды этих бескорыстных тружеников.

Вечером 19 сентября 1845 года на квартире у Даля собралось восемь человек. В числе гостей были географ и статистик Арсеньев, мореплаватель Врангель, астроном Струве. Восемь человек встретились не для того, чтобы скоротать время за приятельской беседой. В тот вечер состоялось первое заседание Русского географического общества.

Члены общества наносили на карту новые земли, бурые складки хребтов и синие извилины рек. Но в архивах общества накапливались также песни и сказки, присланные из разных уголков России, и от этого тоже становилось меньше белых пятен на карте родной земли.

Записи аккуратно сложены в папки, пронумерованы — ждут своего часа. Придет Афанасьев, разложит перед собой эти сокровища, порадуется от души: «Прекрасное собрание! И записаны многие сказки превосходно!» Разберется в них, издаст. В архивах Географического общества, в бумагах Даля и других собирателей зреет «репка», которую предстоит вытянуть Афанасьеву.

Наука мыслить по-своему

…Афанасьев еще не помышляет о сказке.

Рано утром собираются возле университета московские студенты. Ждут, пока выйдет солдат, отворит двери. Тогда — скорей в аудиторию, занимать места поближе к профессору.

Афанасьев является в университет одним из первых. Еще алеют кремлевские купола.

Старик солдат у дверей знает в лицо почти каждого студента, знает, что говорят о каждом студенте профессора. Длинноносого Афанасьева солдат приметил быстро. Солдат говорит про Афанасьева, что «прилежен и до ученья охоч».

Афанасьев появился в Москве в 1844 году. Провинциальный юноша с длинными руками, выросший из старого гимназического мундира.

Приезжают юноши в Москву — искать счастье. Обнаруживается двоюродный дядюшка с материнской стороны, который обещает пристроить орловского или симбирского племянника в канцелярию: будешь хорошо служить, дослужишься до столоначальника, а там, кто знает, глядишь… Москва кружит голову многолюдством, шумными улицами, завораживает модными магазинами и трактирами, рябит в глазах золочеными вывесками. Легко идти по выложенному гладкими плитами тротуару, — кажется, что по такому уйдешь далеко. Москва дурманит надеждами. На жесткой койке, пристроенной в чулане у дядюшки, который за двадцать пять лет дальше письмоводителя не пошел, провинциальные юноши мечтают о карьере, о генеральском чине.

У Александра Афанасьева в Москве даже дядюшки не было. Он рассчитывал на себя и приехал в Москву не за генеральским чином. Он победил белокаменную, когда с грехом пополам сдал экзамен в университет. Он всю жизнь потом удивлялся не тому, что сдал с грехом пополам, а тому, что сдал. После «курса наук» в Воронежской гимназии это было не просто. Александр отпраздновал событие в кондитерской Пеера на Тверской: взял чашку шоколада, яблочный пирожок — и чувствовал себя Наполеоном.

Теперь на четыре года Москвой для Афанасьева станет университет.

На рассвете Афанасьев уже спешит туда по гладким московским тротуарам.

Многие приезжают в университет на извозчицкой линейке, некоторые — в собственных колясках. Студенты в колясках приезжают обычно последними. Первыми являются те, кто шел пешком.

Бьют куранты на Спасской башне, отворяются тяжелые двери. Афанасьев бежит по коридору, врывается в аудиторию, бросает фуражку на переднюю скамью. Фуражку, по студенческому обычаю, уважают — место занято; тетрадь могут переложить или просто сбросить.

Студенты юридического факультета носят в обычные дни сюртук с синим воротником и фуражку, в праздничные —

треуголку и еще нацепляют шпагу; для выездов положен фрачный мундир с галунами. Фрака с галунами Афанасьев, кажется, так и не справил. Те, кто приезжает на лекции в собственной коляске, и по будням надевают треуголку, белые перчатки.

Афанасьев поступил на юридический факультет по настоянию отца. Наверное, отец мечтал, что Александр, образованный юрист, приодет, окончив курс, в Бобров — можно будет передать ему дела. Отец назывался стряпчий, это значило — ходатай по делам, законник; стряпчий ходил по судам, вел чужие тяжбы. Возможно, впрочем, отец подумывал, что Александр, овладев науками, его превзойдет — будет служить в Воронеже, в губернском правлении. Но Александр Афанасьев останется москвичом, домой он не вернется. И стряпчий из Афанасьева не выйдет.

В университете Афанасьев увлекся историей.

За год до того, как стал Афанасьев студентом, университетский курс истории западного средневековья начал читать Тимофей Николаевич Грановский. Поднимался на кафедру изящно одетый, с безукоризненными манерами человек — бледное лицо, задумчивые глаза, длинные, слегка вьющиеся волосы, — говорил, чуть запрокинув голову, вдохновенно, однако серьезно и строго, не заманивая слушателей красотами речи; его часто называли поэтом, но не потому, что он творил поэзию на исторические темы, — для него сама история была поэзия. Говорил о средневековой Франции или Англии, сильно и смело обличал феодальный гнет, а слушателям неуютно становилось от деспотизма и крепостного рабства, которые были их жизнью. Рассказывал, как французский король губил рыцарей-тамплиеров: «Необходимость гибели их, их виновность даже ясны, но мы не можем отказать ни в симпатии к побежденным, ни в презрении к победителю». Рукоплескания прервали речь Грановского — память о 14 декабря, судьба побежденных героев тотчас овладели мыслями слушателей. Герцен позднее писал, что Грановский думал историей, учился историей и историей делал пропаганду. Грановский был другом Герцена и Белинского.

На лекции Грановского собиралась вся мыслящая Москва. Студенты, теснясь на скамьях, отыскивали в битком набитой аудитории плотного румяного человека в темно-синем фраке с позолоченными пуговицами, — это Герцен, уже известный своими статьями. А тот, весь в черном, с высоким голым черепом, — Чаадаев (наверно, но один из слушателей припомнил посвященные ему пушкинские строки), российский мудрец Чаадаев, по приказу царя объявленный умалишенным.

Можно было увлекаться средневековьем или не увлекаться

им — нельзя было не увлечься Грановским. Молодежь тянулась к нему. Молодые любят мыслить самостоятельно. Грановский сдержанно и словно бы кротко сокрушал старые схемы, учил самостоятельно мыслить. Можно было не считать себя учеником Грановского, нельзя было в те годы не стать его учеником. Герцен записал в дневнике, что Грановский пользуется между студентами чрезвычайным уважением, он для них — «мера, к которой прикидывают других профессоров».

Уже при Афанасьеве курс русской истории в университете начал читать Сергей Михайлович Соловьев. Он был молод, ему только исполнилось двадцать пять, но после первых его лекций Грановский сказал восторженно: «Мы все вступили на кафедру учениками, а Соловьев — уже мастером своей науки». В голове молодого Соловьева созревал замысел исполинский. Через несколько лет выйдет первый том его «Истории России с древнейших времен». До конца жизни Соловьев издаст двадцать девять томов «Истории России», смерть оборвет его труд на второй половине восемнадцатого зека. Прославленная «История Государства Российского» Карамзина не выдерживала борьбы ни с обилием изученных Соловьевым фактов, ни с молодым напором его идей. События прошлого не меняются, но каждая эпоха по-новому осмысляет их, делает свои выводы, пишет свою историю.

Светлоглазый, с широким лицом поповича, Соловьев на кафедре не читал — работал. Он рассматривал всякое историческое событие, как опытный мастер рассматривает изделие своего товарища по труду: знает, что выточено на станке и каком, видит, где прошелся напильник, понимает, как скреплены детали. Соловьев показывал студентам, как подробности скрепляются в события, события — в историю. Соловьев знал цену подробностям: в каждой из них была капля истории.

В тот самый год, когда Афанасьев поступил в университет, курс истории русского права на юридическом факультете начал читать Константин Дмитриевич Кавелин. Он говорил пылко, над его горячностью посмеивались — «вечный юноша». Кавелину не было тридцати, но в те времена взрослели рано.

Приятели называли Кавелина за курчавые волосы «разъяренным барашком». Потом «барашек» состарится, попробует бодать Герцена, с которым в молодости был близок, будет набрасываться разъяренно на передовые идеи и помыслы, на молодую революционную Россию. Это нередко случается: человек не поспевает за временем, время его обгоняет, человек как бы движется назад.

Но лекции Кавелина в Московском университете еще шли в

ногу со временем. Кавелин раскрывал слушателям, что законы, по которым живут люди в обществе, появляются не сами по себе и не чьей-либо милостью, — их рождает жизнь, вместе с ней изменяются законодательство и право. Через десять лет Кавелин сам не сможет разглядеть, насколько изменилась жизнь вокруг.

Кавелин привлекал Афанасьева умением легко входить в уклад жизни Древней Руси, умением по малому намеку восстановить целое, создать картину.

Афанасьев считал своим учеником Соловьева и Кавелина. С годами он от истории придет к сказке, захочет прочитать в ней прошлое народа, как прочитывал Соловьев в летописях, Кавелин — в законодательных актах. Так, держа в руке найденный на раскопках черепок, археолог мысленно представляет целый кувшин, и вино, которое в нем было, и человека, который это вино пил, и город, в котором жил человек.

С Грановским Афанасьев часто встречался после окончания университета.

Мыслить самостоятельно Афанасьев научился.

Когда появился первый том соловьевской «Истории России с древнейших времен», Афанасьев высказал свое суждение о нем в подробной статье. Высоко оценив труд, он, однако, упрекнул учителя: Соловьев обедняет русское язычество, «провозглашает бесцветность там, где не вгляделся в краски». Афанасьев высказывает свой взгляд на некоторые разделы российской истории и заключает статью словами: «Замечания наши вызваны тем уважением, какое питаем мы к прекрасным трудам г. Соловьева; ибо мы убеждены, что добросовестный спор лучше безусловных и никому не нужных похвал».

С Кавелиным они начали спорить, едва Афанасьев вышел на свой путь. Да и выходил он на свой путь как бы споря с Кавелиным. Учитель предлагал Афанасьеву заняться историей русского законодательства; Афанасьев выбрал изучение древнего быта, языка, народного творчества. Кавелин обнаружил в первых статьях Афанасьева «фантастические» толкования, предупредил полушутя:

— Я ведь стану ругаться!

Афанасьев обнаружил в замечаниях учителя немало «упрощений» и ответил:

— Я и сам зубаст!

Москва Герцена

В 1812 году Герцен вернулся из новгородской ссылки.

Дом в Новгороде стоял на берегу, седой Волхов неторопливо проплывал под окнами.

По праздникам мимо окон весело летели шумные большие лодки — гуляли бурлаки: стучали в бубны, выкрикивали бойкие прибаутки.

Ночью, когда всходила луна, темный Волхов словно замирал, сверкая. На другом берегу мужик печально тянул бесконечную песню. Лодки, в темноте почти не различимые, плыли медленно. Видно было, как они разваливают надвое черные, сверкающие пласты воды. Герцен слышал по ночам размеренный плеск весел; ему казалось, он слышит движение времени.

Время в Новгороде тянулось невыносимо долго. Целый мир бродил в Герцене, в нем бушевали силы, которые некуда было приложить. Ему нужны были трибуна, собрание, споры, борьба, нужны были люди.

Он примчался в Москву — к друзьям и противникам.

Время завертелось каретным колесом.

В понедельник встречались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у Елагиной. Встречались у Василия Боткина на Маросейке, у Аксаковых на Смоленском рынке, у Хомяковых на Собачьей площадке, на даче у артиста Щепкина, близ Химок.

Это были дома, где ценили умный разговор, поединок мыслей, точное слово.

Сходились вместе люди, которые хотели предугадать судьбу страны, пытались указать путь народу.

Плыл по гостиной табачный дым, густо плыли слова.

Произнесение слов — тоже дело; в спорах отстаивались мысли, потом они ложились в статьи, которые тысячам читателей помогали понять мир, выбрать дорогу.

Герцен тогда с уважением говорил о «праздных» людях, взваливших на плечи огромное бремя — служить связью в обществе, разобщенном и скованном.

Но двигателями общества скоро станут те, кого называли разночинцами, — разного чина люди: выходцы из мелкого чиновничества, духовенства, мещан и крестьян, — не дворяне. Все меньше общественно важных вопросов будет решаться в светской гостиной. Все меньше проку и пользы будет от праздных людей. Разночинец перейдет в другую комнату: он дело делает не в гостиной, а в рабочем кабинете. Слова в гостиных вовсе превратятся в дым. Разночинец Афанасьев лет через пять после окончания университета уже станет упрекать Грановского и

Чаадаева: как мало сделали эти талантливейшие люди, как мало исследовали, написали, издали. Афанасьев взглянет на их жизнь глазами нового времени и несправедливо позабудет, чем были для русского общества речи Грановского, само присутствие Чаадаева. Афанасьев будет «делать пропаганду» за письменным столом.

После новгородской ссылки Герцен провел в Москве четыре с половиной года — до отъезда за границу.

Студент Афанасьев живет тоже в Москве, в одном городе с Герценом.

Около Герцена, как и в юные годы, собирался кружок друзей; Герцен называл этот кружок — «наши». Годы спустя он вспоминал: «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде…» Однако «наши» были разные люди; придет пора, Герцен поймет, что он и его друзья по-разному видят будущую Россию, разные дороги ведут их в будущее. До конца пойдет с Герценом один Огарев.

Но пока они вместе: Герцен, Грановский, врач и поэт-переводчик Николай Христофорович Кетчер, критик Василий Петрович Боткин, актер Михаил Семенович Щепкин, журналист и редактор «Московских ведомостей» Евгений Федорович Корш.

Афанасьев, возможно, видел Герцена; скорей всего, видел — в университете, в театре. Герцен встречался с профессорами, у которых Афанасьев учился. Через несколько лет в письме к другу Афанасьев назовет Герцена «наш приятель».

В студенческие годы складываются понемногу знакомства Афанасьева. Он разборчив в товарищах и почти со всеми, кого выбрал в молодости, проживет всю жизнь.

Сохранились шутливые стихи, написанные через год после окончания Афанасьевым университета. Стихи нам очень дороги: они помогают увидеть Афанасьева за дружеским столом. В них изображен обед в семье Станкевичей. Это люди, близкие Грановскому, знакомые с Герценом, со Щепкиным они в родстве. Автор стихов — сестра Николая Станкевича, рано умершего литератора и философа; в его кружке встречались Герцен, Огарев, Бакунин, Белинский. Незадолго перед описанным в стихах событием Станкевичи перебрались в Москву из Воронежа, где дружили с братом Афанасьева — Иваном Николаевичем, офицером.

Боткин, Грачевский и Соничка рядом сидели; от них же
Свет изливался великий, и ночи светило затмилось;
Щепкин отец одиноко светил на другой половине…
Были тут Корш и Фролов, переведший Гумбольдтов

космос,
Корш выпускал с расстановкой едкое меткое слово.
Дамы сияли улыбкой, с одной из них спор остроумный
Кетчер нелепый завел, и все тому спору смеялись.
Был и другой стол накрыт, и за ним заседали в сторонке
Юноши: Петр остроумный, да Барсовых двое, да с ними
Друга далекого нашего брат Александр Афанасьев,
Носом к орлам подходящий и голубю сердцем подобный…

Нам недосуг говорить обо всех, кто сидел за столом; важно, что собрались дружески пообедать люди, которые были прежде вокруг Герцена. «Старшие» на трапезе — это герценовские «наши»: Боткин, Грановский, Щепкин, Кэтчер, Корш… Правда, упомянут еще Фролов, географ и философ; про него Огарев писал — «один из самых близких мне по духу и по душе».

Афанасьев как бы наследует московских товарищей Герцена. Кружок Герцена — «наши» — становится кругом Афанасьева. Но Афанасьев тоже поймет, что «наши» — люди разные, он выберет свою дорогу.

В серьезной борьбе, которую вел в Москве Герцен, студент Афанасьев прямо еще не участвует. Но он чувствует, что живет в герценовское время. Это не значит просто «одновременно с Герценом»: можно жить одновременно, однако не чувствовать себя человеком времени Герцена.

В то время всюду говорили о народе, его прошлом, настоящем и будущем.

Правительство, казенные писатели и казенные профессора годами вбивали в голову людям, что Россия, как Земля на трех китах, держится на самодержавии, православии и народности.

Профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев произносил нараспев пышные фразы: сильно гневаясь, обличал «гниение» Европы, дух революций и страсть к переменам, ей свойственные. Твердил: России с богом данным государем, с верей православной жить по-своему, иной быт нейдет к русскому уму и русскому сердцу.

Афанасьев записал в дневник ходивший среди студентов стишок про Шевырева:

Преподаватель христианский,
Он в вере тверд, он духом чист,
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист,
И скромно он, по убежденью,

Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Шевырев завидовал успеху Грановского и — в противовес ему — объявил свой курс лекций. Он очень старался, читал так возвышенно, что иногда казалось, будто говорит стихами; министр народного просвещения Уваров, «изобретатель» «истинно русских начал» — самодержавия, православия, народности, — был доволен, а публика оставалась холодна.

Невозможно было поверить, что судьба русского народа на веки вечные — власть царя над жизнью, власть попа над мыслью, крепостное рабство.

Но об этом говорили не только Шевырев и его друзья, благонамеренные профессора, об этом сказал Гоголь, а всякое его слово звучало громко. В 1847 году вышла в свет книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

Когда Герцен вернулся в Москву из Новгорода, шли споры о «Мертвых душах»; «Выбранные места» появились в книжных лавках в те самые дни, когда Герцен собирался за границу. Гоголь встретил Герцена в Москве «Мертвыми душами», проводил «Выбранными местами».

Про «Выбранные места» Герцен говорил: дух этой книги совершенно противоположен прежним творениям Гоголя.

Гоголь писал в «Выбранных местах» о любовной связи русского народа с царями, о несокрушимой истине, которую несет православная церковь, о божественной необходимости крепостного права.

Шевырев, понятно, радовался: наконец-то автор «Ревизора» и «Мертвых душ» поднялся до «высшей точки».

Гоголю отвечал Белинский своим известным письмом: «Передо мной была ваша книга…я читал ее и перечитывал сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу».

Письмо Белинского разошлось во множестве списков. Напечатать его в России удалось только четверть века спустя. Прежде это сделал Герцен за границей, в своем альманахе «Полярная звезда».

Но в «Современнике» появилась урезанная и искалеченная цензурой статья Белинского о «Выбранных местах», в ней критику все же удалось сказать и о «падении» Гоголя («…горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь!»), и

о том, что противники таланта писателя «раненько» торжествуют победу — «Именно теперь-то еще более, чем прежде, будут расходиться и читаться прежние сочинения Гоголя…».

Герцен вспоминал: статьи Белинского *судорожно* ожидались молодежью в Москве и Петербурге; пять раз на дню хаживали студенты в кофейные спрашивать, получен ли новый журнал. «Тяжелый номер рвали из рук в руки. — «Есть Белинского статья?» — «Есть», — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами… и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало».

Студент Афанасьев вряд ли видел Белинского: нет сведений о том, что им приходилось встречаться. Но студент Афанасьев не мог не спрашивать в кофейных, пришел ли свежий номер журнала, не мог не тянуть его жадно из чужих рук, не заглядывать через чужое плечо, — только бы поскорей прочитать! Тем более, что журналы Белинского «Современник» и «Отечественные записки» станут скоро журналами Афанасьева. Белинский успеет познакомиться с первыми его статьями.

…Время в Москве крутилось для Герцена каретным колесом.

Широкого, плавного Волхова под окнами не было.

Но Герцен помнил тихий плеск весел, отмеряющий движение времени; звучала в ушах протяжная песня мужика с того берега.

О мужике, его прошлом и будущем, кипели споры в гостиных.

С Герценом спорили в гостиных люди, которые единственно себе присваивали право знать и любить свой народ. Они назывались славянофилами, то есть «славянолюбами».

Славянофилы воспевали допетровскую Русь, она мерещилась им образцом мирно и ладно устроенной жизни.

Им казалось: если повернуть к старине, можно опять прийти к доброй, согласной, хорошо устроенной жизни, которой все будут довольны. И мужик перестанет тянуть свою грустную песню.

Некоторые из славянофилов стриглись по-крестьянски, «под кружок», носили мурмолку — высокую шапку с отворотом по краю. Но мурмолки в то время уже вышли из обихода. Чаадаев рассказывал со смехом, что, когда один из видных славянофилов надел «национально русскую» одежду, народ на улицах принимал его за персианина.

Герцен говорил про славянофилов: «Они вспоминают то, что народ забывает». Народ знает свое прошлое не таким, каким придумали его славянофилы, и о настоящем тоже думает иначе. История не возвращается, говорил Герцен, жизни не нужны старые платья. Россию ждет новое будущее, а не перешитое из прошлого, придуманного славянофилами.

Славянофилы собирались поворачивать народ к будущему, скроенному из старины, поворачивать плавно, не спеша.

Герцен мечтал о крутом повороте на новый путь — *о перевороте*; скоро он скажет, что вера его в будущее России основана на перевороте.

В 1846 году он написал небольшую повесть «Сорока-воровка». Это повесть о крепостной актрисе, о рабыне, которая не покорилась барину, князю; муки и смерть предпочла смирению. Душа рабыни оставалась свободной.

Страшную и героическую историю рассказал Герцену великий актер Михаил Семенович Щепкин, сам игравший прежде в крепостном театре и лишь на тридцать третьем году жизни получивший «вольную». Щепкину и посвящена «Сорока-воровка».

Афанасьев читал «Сороку-воровку». Четверть века спустя, когда само имя Герцена произносить вслух в России было запрещено, Афанасьев решил восстановить рассказ старого актера, положенный в основу повести. Запись этого рассказа находим в дневнике Афанасьева. Из дневника знаем и подлинную фамилию замечательной актрисы, погубленной крепостным рабством, — Кузьмина.

Герцен говорил, что любовь к народу, изучение прошлого нужно для пророчества о будущем. Самодержавное правительство не желало пророчеств, хотело, чтобы люди любили свой народ, свою страну по указке и в пределах дозволенного. В 1847 году цензорам было дано секретное предписание относиться с особенною осторожностью к сочинениям по отечественной истории, чтобы не возбуждать в читающей публике «необдуманных порывов патриотизма».

Интерес к отечественной историк воспламенялся размышлениями и спорами о настоящем и будущем России.

Смелые и необычно новые по тем временам лекции Грановского, Соловьева, Кавелина, публичные диспуты на университетской кафедре — все это не было случайностью.

И юрист Афанасьев увлекся историей тоже не случайно.

За стенами университета кипела жизнь и отражалась, как в зеркале, в университетской жизни.

Для молодого поколения, торопливо бросавшего фуражки на университетские скамьи, чтобы занять место поближе к кафедре, «народность» была не любовь к царю-батюшке, не вера в великолепие нынешнего устройства России, а характер и быт народа, которые предстояло пытливо изучать во имя будущего. Но для этого надо было заглянуть в прошлое, частью уже позабытое, собирать рассеянные по стране обычаи и обряды, собирать песни, сказки, былины — народную поэзию.

В ученых трудах тех лет слова «народность» и «старина» нередко означали одно и то же.

Студент Афанасьев жил не просто в Москве, он жил в герценовской Москве. Москва была разной, Афанасьев выбрал свою. Время Герцена, в котором ощущал себя Афанасьев, помогало ему найти путь к своей «репке» — к сказке.

Есть еще такая запись сказки про репку:

«Бежит ножка по дорожке. «Ножка! Пособи репку рвать».

Студент Афанасьев, наверно, и сам не замечал, как спешил к «репке» — к главному своему делу, к самому себе.

Поди туда — не знаю куда…

1848 год. Как важно соглашаться с министром

«Сорока-воровка» Герцена (он подписывался «Искандер») была напечатана в феврале 1848 года.

22 февраля в Париже возле церкви святой Магдалины собралась толпа; явились студенты с левого берега Сены, потом подошли рабочие и заняли площадь Согласия. День был пасмурный, моросил дождь. В толпе выкрикивали лозунги с требованием свобод, пели «Марсельезу». В сумерках народ двинулся по улицам, кое-где появились баррикады, загорелись костры в Тюкльрийском саду. Ночью рабочие вооружились, начались стычки с войсками и полицией. Вечером 23 февраля у бульвара Капуцинов солдаты четырнадцатого линейного полка стреляли в народ. Толпа была густая; после первого залпа упало человек пятьдесят. По улицам Парижа допоздна двигалась одноконная повозка, освещенная факелами; стоявший в повозке рабочий поднимал и показывал народу труп молодой женщины, ее шея и грудь были залиты кровью. Рабочий кричал: «Мщение! Убивают народ!» В эту ночь парижане построили полторы тысячи баррикад. На следующий день король Луи-Филипп подписал

отречение от престола.

Весть о французских событиях застала Герцена в Неаполе. Годом раньше он покинул Москву и отправился в Европу; не беспечно жить и проживать состояние, говорил он, а искать практического дела. Друзья на девяти тройках провожали его до первой станции — Черная Грязь; здесь откупорили шампанское и обнялись в последний раз. Зиму 1843 года Герцен проводил в Италии, там было тоже неспокойно. Еще 12 января вспыхнуло народное восстание в Палермо, главном городе Сицилии. На помощь восставшим подоспели крестьяне. Королевским войскам пришлось оставить город. Через две недоли произошла громадная манифестация в Неаполе. Перепуганный король согласился на уступки. В неаполитанском театре Аполло шумели: «Да здравствует свободная Франция!» Но мыслями публика была у себя дома — в Италии. Герцен писал возбужденно: «Революции меняют ежедневно вид Европы и мои планы путешествия».

Весной 1848 года Белинский умирал в Петербурге. Минувшим летом он был в Европе, лечился в Зальцбрунне, потом приехал в Париж к Герцену. Он часто сидел на мраморных ступенях террасы, смотрел задумчиво на раскинувшуюся перед ним площадь Согласия, на купол дворца Тюильри, поднявшийся над густыми каштанами парка, на мост, перекинутый через Сену. Минувшее проходило перед ним, бурные события прошлого вставали в памяти — он думал об истории. Умирая, он расспрашивал о европейских делах, огорчался, что не сумел предвидеть революцию. «Он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро», — писал Герцен. Грановский вздыхал: «Благо Белинскому, умершему вовремя». Жандармский генерал Дубельт сокрушался: «Жаль, жаль, что Белинский умер; мы бы его в крепости сгноили».

В феврале 1848 года, когда в Европе разгоралось зарево, Гоголь отправился к «святым местам». Он жаловался, что из Неаполя его выгнали раньше времени «политические смуты и бестолковщина». Паломники на мулах и лошадях брели через пустыню к Иерусалиму. Навстречу медленно тянулись светлые пески, изредка поросшие низким кустарником; в полдень путники останавливались на полчаса возле колодца, спрятавшегося в тени двух-трех олив. В те дни, когда поперек парижских улиц протянулись настороженные баррикады, Гоголь смотрел с Элеонской горы на Иерусалим; здесь, на горе, видел он «след ноги» вознесшегося Иисуса Христа, — след, как в мягкий воск, был вдавлен в твердый камень.

Через несколько месяцев в родной Полтавской губернии Гоголь увидел выжженные засухой поля крестьян; хлеба не жали

серпом, а собирали руками по колоску. В селах свирепствовала холера. Зима сулила голод. «Святые места» не принесли успокоения. Еще до поездки, в письме из Неаполя, Гоголь признавался Жуковскому: печатая «Выбранные места из переписки с друзьями», он не подумал, что «прежде чем принести какую-нибудь пользу», книга может «сбить с толку многих». «…Не мое дело поучать проповедью, — писал Гоголь. — …Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями». В России собакевичей, чичиковых и кувшинных рыл он почувствовал это особенно остро. Он сетовал, что страну свою знает слишком мало, собирался поездить и «поглядеть на Русь».

Рассказывают, будто император Николай Первый, получив на балу известие о революции, скомандовал браво: «Седлайте коней, господа! Во Франции объявлена республика!» Но сохранились сведения и о «невнятных восклицаниях», которые в смятении издавал государь, и об испуге царской фамилии, и о том, что у канцлера Нессельроде при докладе выпала из рук бумага с парижскими новостями.

Царь полагал, что история подвластна его приказам. Царским словом привык он пресекать споры ученых: устанавливал даты, давал единственную оценку событиям, наделял славой и бесчестьем деятелей прошлого. Но мировая история вдруг обошлась без его указаний. Это его раздражало и гневало. На всякий случай он «отверг с негодованием» «нелепые и безрассудные» слухи о возможной отмене крепостного права. Но втайне предупредил приближенных: и в России могут наступить потрясения, надо обращать бдительное внимание на собственный край.

Царь не смог «запретить» революцию на Западе, но решил сделать русскую границу неприступной для революции.

Профессор истории Сергей Михайлович Соловьев грустно пошутил: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!»

В каждом слове, напечатанном типографской машиной, власти выискивали «сомнительный дух» и «вредные намеки».

Ученый писал о брюхоногих слизняках и называл, как водится, животных по-латыни, — его обвиняли в презрении к родному языку и ненависти к отечеству. Другой исследовал болезни картофеля, — в этом усматривали намек на несовершенное общественное устройство России.

«Панический страх овладел умами», — записал в дневнике современник.

Казалось, скоро вовсе запретят книги. Министр народного просвещения заявил в сердцах: «Скорей бы прекратилась эта русская литература. Я тогда буду спать спокойно». Попечитель

Петербургского университета Мусин-Пушкин требовал «совсем вывести романы в России, чтобы никто не читал романов». Брат царя, великий князь Михаил Павлович, изрек как-то, что питает отвращение ко всем журналам и журналистам.

Поговаривали о закрытии университетов. Число студентов приказано было сократить.

— На что они, студенты, только бедность да баррикады!

Царь объяснил: Европа бунтует по причине безверия; Россия, слава богу, проживет одним православием, без наук и искусства. Охранители «порядка» твердили, что революции происходят от физиков, астрономов, поэтов.

Грановский писал Герцену за границу: «Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением».

На Грановского сыпались доносы. Жандармы то и дело собирали о нем справки. Московский митрополит Филарет вызвал Грановского к себе, кричал на него, требовал ответить, почему Грановский не упоминает «руки бога» в истории. Филарет, должно быть, считал, что он тоже имеет право приказывать истории.

Осенью тревожного 1848 года прикатил в Москву министр народного просвещения Уваров. Министр говорил, что мечтает отодвинуть Россию на пятьдесят лет назад, тогда он умрет спокойно. Кажется, и министр видел себя «двигателем» истории. Уваров предлагал «умножать, где только можно, умственные плотины». Вот он и приехал в Москву — проверять университет и возводить плотины уму.

В парадном мундире, увешанный крестами и звездами, Уваров появлялся на лекциях. Профессора на негнущихся ногах тяжело взбирались на кафедру, читали сдавленными голосами, задыхаясь от волнения. Министр приятно и сдержанно кивал головой, после каждой лекции громко рассуждал об услышанном и о науке вообще. Министр полагал, что он, как человек государственный, знает нечто такое, чего не могут знать ученые, и потому имеет право смело судить с любой науке.

Уварову были представлены самые способные студенты, — он пожелал видеть «смену». Студенты тоже читали перед министром лекции, он приятно кивал им головой и громко рассуждал.

Афанасьев оказался в числе самых способных. Судя по всему, его собирались оставить при университете. Друзья весело пророчили: «Быть тебе, Александр, профессором!»

Вот Александр Афанасьев торопливо поднимается на кафедру, с которой читали его наставники, с которой ему самому читать, если станет профессором. Оступился — плохая примета. В аудитории тишина, никто не засмеялся.

Лекция называлась: «Краткий очерк общественной жизни русских в три последние столетия допетровского периода».

В дневнике Афанасьев записал, что тема лекции — о влиянии самодержавия на развитие уголовного права.

Афанасьев раскладывает на столе листки с подробным планом лекции. Стол гладко отполирован ладонями и локтями четырех поколений профессоров. Афанасьев поднимает глаза. Слушатели на скамьях сидят плотно. Кто-то в углу аудитории быстро и несмело помахал Афанасьеву рукой, — он не разобрал кто. Прямо перед ним украшенный, как рождественская елка, улыбается министр. Пора начинать.

В дружеском кругу Афанасьев — говорун и шутник, но выступать публично не любит: робеет.

Он стоит на кафедре, легонько поглаживает ладонью стол. Очень тихо, все ждут. Решается судьба.

Афанасьев вздыхает, резко, будто ныряет, склоняется к столу, окунает нос в листки. Говорит не воодушевленно, однако спокойно и деловито. Постепенно он выпрямляется, откладывает в сторону листки. План лекции ясен ему совершенно. Память услужливо, как на ладони, подает нужные мысли и примеры.

Он не замечает, как министр перестает кивать.

Афанасьев заканчивает, хотя и без должного подъема, но бодро.

Министр не вполне доволен лекцией; улыбаясь, он делает замечания.

Однако этот странный студент, вместо того чтобы поклониться и с готовностью слушать, отвечает! Да еще и не согласен, стоит на своем, вступает в спор.

Афанасьев совершенно не умеет ковать свое счастье: в лекции не выровнял свои взгляды с казенными, к тому же (по собственным Афанасьева словам) «не догадался тотчас же согласиться» с министром.

Уваров подымается с кресел и со сдержанной приятностью в лице покидает аудиторию. Университетское начальство спешит следом.

Через пять минут в коридоре профессор Шевырев объявит лекцию Афанасьева вредной, отыщет в ней «намеки», «крамольные идеи». Спустя несколько дней Афанасьева назовут в печати «представителем новых воззрений на русскую историю». Это тоже обвинение.

Афанасьев собирает свои листки, кладет в портфель. Спускается с кафедры, на которую больше не взойдет.

Нигде не оступился.

Начинается сказка «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Афанасьев по студенческой привычке просыпается на рассвете, но спешить некуда. Не для Афанасьева отпирает старик солдат университетские двери. Неодобрение министра — замок крепкий.

Университетское начальство вынесло решение окончившего курс Афанасьева при науке не оставлять. Оказывается, можно кивком сановной головы отставить человека от науки.

Отец зовет домой — обещает пристроить в Воронеже.

Афанасьев думает об отце: старик уже, а все бегает по сумрачным судебным палатам, ведет долгие чужие дела, — кому-то вздумалось оттягать у соседа кусок землицы, кого-то надули при дележе богатого дядюшкиного наследства. Стоило четыре года слушать Грановского и Соловьева, залетать мыслями в седую старину, заучивать, наслаждаясь, живые и точные строки летописей, чтобы всю жизнь ублажать потом прихоть самодура-землевладельца, алчность жиреющих наследничков.

Стоило четыре года читать Белинского и Герцена, чтобы творить науку, угодную министру народного просвещения!

Афанасьев не сожалеет, что не обласкал его улыбкой министр. Умение дорожить собой не покидает Афанасьева.

Царь из сказки отсылал прочь добра молодца — «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» — и думал: пропадет добрый молодец. Но добрый молодец находил неведомые царю пути-дороги и отыскивал то, чего не знал царь.

Стопы книг окружают небольшой стол, как крепостные стены. Книги высятся башнями на двух некрашеных табуретах. Книги расставлены на подоконнике и почти наглухо замуровали и без того темное оконце. На скудные средства, присылаемые отцом, Афанасьев собирает библиотеку. Но в комнатенке, которую он снимает, шкафа нет.

Афанасьев медленно одевается, со вздохом оглядывая свой костюм. Мундир студенческий поносился, выцвел, — хорошего жалования, с которого собирался Афанасьев заказать себе новый сюртук, пока не предвидится.

Перед маленьким настенным зеркальцем, но не глядя в него, Афанасьев тоскливо надевает фуражку. Уходить от книг неохота. Но надо искать «не знаю что» — искать какую-нибудь службу, где можно сменить старую студенческую фуражку на новую, чиновничью.

Пока есть только уроки в частном пансионе; Афанасьев преподает там русскую историю и литературу. Директор пансиона француз Эннес не очень доволен молодым учителем: в классе на его уроках слишком вольно, нет должного порядка и строгости. Недавно приезжал правительственный инспектор и потребовал для просмотра лучшие сочинения, — у Афанасьева хватило ума представить инспектору сочинение Сергея Боткина «Исследование о происхождении водки, называемой Ерофеичем». Инспектор даже поперхнулся от недоумения, а учитель стал горячо доказывать, что исследование очень серьезное и обстоятельное и к тому же написано прекрасным языком. Эннес потом долго выговаривал Афанасьеву, сверля его затаившимися под густыми бровями жесткими зелеными глазами. Но директор дорожил учителями, которые стоили ему дешево.

Афанасьев не любит эти уроки, хотя относился к ним серьезно, составил далее для пансионеров записки по русской истории. Но озорные юноши, заполняющие класс, кажутся ему скорее товарищами, чем учениками. Он охотно беседует с ними о том, что его самого занимает, делится мыслями, научными розысками, но взять тон строгого наставника, вдалбливать в головы ученикам определенные истины, вдалбливания которых требует господин Эннес, никак не может.

…Недавно Афанасьев встретил Сергея Боткина на Девичьем поле. Накануне по городу расклеены были афиши, что какие-то заезжие мосье и мадам поднимутся в небо на воздушном шаре. Народу собралась тьма, билеты все расхватаны, однако воздухоплаватели лететь испугались. Шар пустили без пассажиров. Зрители рассвирепели, стали кричать, свистеть, в сердцах разнесли ограду. Явилась полиция, начала хватать правых и виноватых. Афанасьев с трудом выбрался из толпы и тут увидел Боткина. Сергей стоял чуть в стороне и, щуря близорукие глаза, с интересом рассматривал происходящее. Афанасьев взял его под руку:

— Пойдемте, Боткин, а то еще схватят, чего доброго.

Он знал Сергея ближе, чем других учеников: в доме его брата, Василия Петровича Боткина, Афанасьев был частым гостем.

— Жаль, что не полетели, — сказал Боткин. — Должно быть, ветер сильный, оттого.

Пошли вместе. Афанасьев сдерживал шаг: Боткин ходил неторопливо.

— Если знать площадь города, нетрудно вычислить, на какую высоту надобно подняться на шаре, чтобы увидеть всю Москву, — снова сказал Боткин. И засмеялся: — Впрочем, при моей близорукости я с любой высоты увидел бы ее только

теоретически.

— Увидеть в мыслях, теоретически, наверно, потрудней, чем глазами, — сказал Афанасьев. — Вот я, сидя за столом, летаю на сказочном ковре-самолете или в ступе с Бабою-Ягой пытаюсь в подробностях разглядеть минувшее, целые столетия.

— Эта поэзия не для меня. Я, чувствую влечение к точным наукам. История расплывчата, неопределенна, слишком зависит от того, кто говорит о ней. Ей противостоят упрямые истины математики.

— Я верю, что есть точные, как бы математические законы истории, — возразил Афанасьев. — Если вывести их из прошлого, возможным станет объяснить наше сегодня, предугадать наше завтра. Я, наверно, плохой учитель, не сумел вас захватить, зажечь.

— Вы тут ни при чем, Александр Николаевич, просто я математик прирожденный…

(Не знают оба, что на математический факультет Боткина из-за сокращения числа студентов не примут; суждено ему пойти на медицинский и прославить в будущем русскую врачебную науку.)

В тот день расставаться им не хотелось. Чтобы возместить ущерб за неувиденное воздушное путешествие, отправились в иноземный зверинец, раскинувший тут же неподалеку свои ярко размалеванные дощатые улочки. Видели обезьян, больших и маленьких, — они сидели нахохлившись, неподвижно, даже почесывались изредка. Шерсть у обезьян была в серых пролысинах; в больших печальных глазах тонкой свечкой сгорала короткая в неволе жизнь. Только одна мартышка уморительно кривлялась, под хохот толпы без передышки передразнивала тех, кто стоял перед ней. «Да ведь она не веселится — гневается», — вдруг понял Афанасьев, и сразу стало не смешно. Длинная очередь выстроилась перед жгуче-красной палаткой. Посреди палатки на возвышении стояла темно-коричневая человеческая голова.

— Перед вами, уважаемые зрители, сушеная голова туземца, убитого англичанами, — громко, на ясном русском языке объяснял стоявший тут же полный господин во фраке и сверкающем, черного шелка цилиндре. — Прошу разглядеть лицо: татуировка сохранилась прекрасно, сохранилось также и выражение уст, замерших в страдании, с оскаленными зубами…

— Мерзко! — вслух проговорил Афанасьев и начал протискиваться к выходу.

Они с Боткиным почти бежали по раскрашенному дощатому городку.

— Это, это можно тоже объяснить точными законами

истории? — запыхавшись и стараясь не отстать, спрашивал Боткин.

— Но и в математике от этого не спрячешься, — сердито ответил Афанасьев.

Разноцветные попугаи в высокой клетке ругались им вслед по-английски…

…Воспоминание не из приятных.

Однако пора на уроки. За окном низко нависли дымные клубы туч. Еще дождь пойдет, чего доброго. Дождь не для его ботинок.

Афанасьев быстро выходит на улицу и, стараясь обогнать дождь, который уже принимается понемногу, спешит к пансиону.

Дождь разошелся вовсю. На Маросейку, где находится пансион Эннеса, Афанасьев сворачивает уже под ливнем. Ноги сразу промокли, ботинки сделались тяжелыми.

Господин Эннес, путая русские слова с французскими, говорил на днях, что хотел бы видеть курс отечественной истории более четким.

— Мальчики должны знать одно: в России все хорошо. Премудрости философов довели Европу до бунта. Упаси бог! Зачем мудрить. История — не математика. Проще, мосье Афанасьев, проще…

В голове у Афанасьева вертится вычитанный в журнале стишок некоего майора Щепанского:

Пусть тревожатся народы,
Иноземные породы!
А мы песню запоем,
Не туживши ни о чем.
Не робей, не унывай —
С нами бог и Николай!
Ура! Ура! Ура!

Господин Эннес, кажется, хочет, чтобы курс истории был похож на этот стишок.

Директор стоит в вестибюле с часами в руке, Афанасьев снимает набухшую от дождя фуражку, торопливо — через две ступеньки — поднимается по лестнице в классы. Директор бровями показывает служителю, чтобы вытер мокрые следы на каменном, выстланном плитками полу.

Обед у Щепкиных

У Щепкиных варили уху стерляжью с налимовой печенью. Уха играла в тарелках густым янтарем. К ней подавали кулебяку с визигой.

Щепкины хлебосольны и угощают всегда отменно.

Афанасьев зван к Щепкиным на уху.

Он приходит рано. В полутемной (свечей не зажигали еще) столовой Татьяна Михайловна, воспитанница Щепкина, вечно хлопочущая по дому, и молоденькая горничная взялись за углы большой белой скатерти и, прежде чем накрыть стол, несильно потягивают ее, чтобы разгладились складки. Афанасьев рассчитывает, пока соберутся гости, провести часок с Дмитрием Михайловичем, старшим сыном актера.

Дмитрий Михайлович — человек многознающий: астроном, историк искусства, знаток восточной мифологии. Он сильно болен, из своей комнаты выходит редко.

Дмитрий Михайлович сидит в глубоком мягком кресле, обитом розовой материей; ноги прикрыты пледом, на коленях — раскрытая книга. У него лицо сказочного принца из «Тысячи и одной ночи» — тонкие черты, нежная смуглость кожи, сверкающая белизна ровных зубов, большие темные глаза, задумчивые и горящие огнем одновременно. Лицом Дмитрий Михайлович в мать, а про Елену Дмитриевну Щепкину говорят, будто малым ребенком ее нашли русские солдаты на поле боя при взятии Анапы и будто ее отец, турецкий паша, приезжал потом в Россию — отыскать и за любые деньги выкупить потерянную дочь.

Дмитрий Михайлович улыбается вошедшему Афанасьеву:

— У меня для вас сюрприз, Александр; нашел подробное описание чудесной птицы Гаруды. Это из индийской мифологии. Удивительно похожа на нашу жар-птицу. Вон, взгляните, на столе черная тетрадка кожаная.

Афанасьев быстро присаживается к столу, открывает тетрадь.

— Ну конечно! Родная сестра нашей жар-птицы. Интересно, сыплются ли изо рта ее драгоценные каменья, когда она поет? Жаль, об этом ничего не сказано! Очень точно видится: жар-птица — символ грозы, а пение ее и сверкающие камни, которые летят из раскрытого клюва, картинно воссоздают образы грома и молний. Но может быть, ваша прекрасная индийская дама Гаруда несет золотые яйца? Вы такого нигде не читали? Я совершенно убежден, что золотое яйцо, которое несут сказочные птицы, не что инее, как символ солнца.

— Боюсь, Александр, что скоро вы будете толковать известную сказку о курочке-рябе примерно так: взошло солнце,

ни дед, ни баба ничего не могли с ним поделать, но мышка-вечер хвостиком махнула — и солнышко закатилось; а курочка снесла новое яичко, только не золотое — простое. Не Луну ли снесла?.. Ну, не хмурьтесь, Александр, я шучу!

— А я отбиваться умею. Известна ли вам, сударь, загадка: стоит дуб о двенадцати ветвях, на каждой ветви по четыре гнезда, в каждом гнезде семь беленьких яиц и семь черненьких. Что это? Может быть, станете спорить, что не двенадцать месяцев, в каждом месяце четыре недели, в каждой неделе семь дней и ночей? А уж про золотые яйца, которые разгоняют ночную тьму, я вам бог весть сколько могу рассказать. Да вы и сами помните: рано утром пошел мужик в сарай, куда запер чудесную уточку, и увидал великий свет; закричал мужик во всю глотку: «Пожар! Пожар! Жена, беги ведро, беги заливать!» Зашли в сарай, а там ни дыму, ни пламени, только светится золотое яичко…

— Да, право же, я шучу, Александр, не горячитесь. Позвольте в оправдание преподнести вам индийское поверье о золотом яйце, плавающем в облаках, и вавилонский миф о небесном же яйце, которое голубь высиживает в реке Евфрат. И предложить мировую.

— Ну вот видите!..

Афанасьев помогает Дмитрию Михайловичу встать из кресла. Вместе выходят в залу. Гости уже съехались, но к столу еще не звали. Все взбудоражены: нежданно явился Гоголь.

Афанасьев не раз встречал Гоголя у Щепкиных.

Гоголь сидит с Михаилом Семеновичем на диване и разговаривает тихо — только с ним. На Гоголе темно-гранатовый сюртук и бархатная жилетка — зеленая в красных мушках. Гоголь, не в пример обычному, выглядит здоровым и окрепшим. Подходя к нему здороваться, все говорят ему об этом. И он одинаково отвечает всем, что ровная жестокая зима, видать, ему на пользу.

Афанасьев усаживает Дмитрия Михайловича поближе к Гоголю и слышит, как Гоголь расхваливает сделанный Жуковским перевод «Одиссеи» — всю эту зиму он читает ее вслух. Кроме «Одиссеи», он читает также вслух, народные русские песни, они приводят его в совершенный восторг, особенно свадебные.

Беседа (это нередко случается, перед тем как позовут к столу) сворачивает на темы гастрономические, Гоголь одушевляется. Теперь они со Щепкиным говорят почти одновременно, радостно глядя друг другу в глаза; до гостей долетают слова: «галушки… вареники… голубцы…»

Распахивается дверь столовой. Михаил Семенович ласково берет Гоголя под руку, но тот вдруг ловко выскальзывает из

щепкинских объятий и объясняет горячо, что остаться на уху никак не может — нет, нет, и не просите!

После его отъезда Михаил Семенович рассказывает:

— Слава богу, принялся опять за «Мертвые души». Похоже, скоро второй том почитаем. Да вот все жалуется, что мало знает Россию.

Афанасьев думает: сколько людей знают Россию по Гоголю. Если б не «Выбранные места»…

Щепкин в другом конце стола будто угадывает его мысли:

— О «Выбранных местах» даже говорить теперь не хочет. И необыкновенно бодр.

Провозглашают тост «За Русь и святую волю!» — при Герцене его всегда поднимали.

Пьют за Герцена. Он уже не вернется, конечно. Он сам обрек себя на изгнание, чтобы на чужбине служить отечеству.

— Вздор! — кричит Кетчер (это его любимое словцо — «вздор»). — Что будет с Россией, если все хорошие люди начнут оставлять ее!

Афанасьев тоже горячится:

— Да-да, остаться и работать хотя под ножом!

— Но это ужасно — под ножом, — говорит Грановский. — Помните, в письме из Парижа о расстреле революции Герцен писал, что сидеть у себя в комнате, когда везде льется кровь, когда возле умирают, от этого самому можно умереть, сойти с ума.

— Это письмо по рукам ходит, его все читают, — перебивает Щепкин. — Некрасов говорил, что плакал, читая.

— Наверно, у всякого из нас свой путь служения отечеству, — говорит Грановский. — Герцену нужна трибуна, гласность. Он часто повторял: «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло». Герцен чувствует в себе призвание рассказать про нас Европе и нам про Европу, рассказать России о ней самой, наконец.

— Вздор, вздор! — кричит Кетчер. — А декабристы! Этого никогда не бывало — служить отечеству издалека!

— Один мужик поехал в город на заработки, — лукаво подмигнув, заводит притчу Щепкин, — и воротился назад, обутый в сапоги. А в деревне все лапти носили. Увидели мужика в сапогах и давай ругаться: «Да как это возможно — в сапогах! Отцы и деды небось не глупее нас были, жизнь в лаптях протопали, а он — сапоги! Да мы их сроду носить не станем! Да мы!..» А на другой год уже вся деревня в сапогах щеголяла…

Покончив с трапезой, снова переходят в залу.

Щепкину не терпится показать друзьям сцену из новой пьесы

Тургенева «Нахлебник». Тургенев написал ее для Щепкина, но постановку не разрешили. Михаил Семенович прочитал «Нахлебника» родне, друзьям и предложил ставить домашний спектакль. Всю зиму усиленно репетировали.

Щепкин играет сцену в полную силу, без скидок, словно перед ним не два десятка знакомых, собравшихся на обед, а сверкающий позолотой в темноте привычный зал Малого театра.

Как всегда, аплодисменты.

— Прекрасно!

— До слез!

— Чудо, как хорошо!

— Да где ж тут крамола?

— Заявлено было, — объясняет Щепкин, — что, хотя ни в одном слове крамолы не обнаружено, есть-де во всей комедии что-то нехорошее. Нельзя, да и только!

— Пьеса, конечно, отменная, — говорит Афанасьев, провожая Дмитрия Михайловича в его комнату, — а все же — не Гоголь. У Гоголя широта необъятная, меткость и глубина.

Он возвращается в залу. Там Михаил Семенович уже смешит гостей. Прежде, рассказывает он, драматический актер обязательно уходил со сцены с поднятой рукой. И показывает. Все хохочут.

— Смеетесь? А прежде не смеялись. И не казалось нелепо. И нельзя было иначе. Только вот так.

И снова показывает.

— Да. Старое не возвращается. Возвращенное, оно кажется нелепым.

Афанасьев чувствует, что его взбудоражил сегодняшний вечер. Вот он выкрикнул, как мальчишка: «Работать под ножом». А достанет ли у него сил на это? И как соединить службу со служением? И как найти свой путь служения? И как все в этой жизни сопрячь?..

Наедине с минувшим

От Покровских ворот крутым переулком спускается к Ивановскому монастырю валкая подвода. Лошади идут легко, подвода громыхает по булыжнику, груза на ней — небольшой сундучок да увязанные пачками книги.

Следом за подводой, поглядывая, чтобы книги не рассыпались, весело торопится по тротуару человек: Афанасьев

переезжает на новую квартиру. На новой квартире проживет он тринадцать лет, книг за это время прибавится множество, но имущества останется все тот же сундучок.

В конце 1849 года Афанасьева наконец пристроили на хорошее место — чиновником в Архив министерства иностранных дел. По должности полагается ему казенное жилье, тут же, при архиве.

…С давних времен хранились в посольском приказе государственные акты, письма и грамоты, относящееся до внешних сношений России с иностранными державами и до внутренней жизни нашего отечества. Когда Петр Первый создал Коллегию иностранных дел, назначил он для разбора скопившихся документов архивариуса Алексея Почайнова. Документы разложены были по сундукам и снова более полувека томились в холодных подвалах. Сырость и теснота уничтожали ценнейшие бумаги. В донесения о проверке архива говорится, что многие дела превратились в гниль и та гниль лопатами сгребена и обратно в сундуки складена. Только в конце восемнадцатого столетия, чтобы поправить положение, назначены были в архив ученые-историки. Архиву отдали дом близ Ивановского монастыря; дом этот принадлежал некогда думному дьяку Украинцеву, видному русскому дипломату; при Петре Первом был Емельян Украинцев посланником в Константинополе и Польше.

Теперь в этом же доме будет жить Афанасьев. Кто знает, может быть, зимним вечером, загасив свечу, вызовет он силою воображения тени людей минувшего, тех, кто бывал некогда в этих стенах, — ближних бояр Алексея Михайловича, сподвижников Петра, — и в темноте послышится ему шорох тяжелых одежд, скрип дубовых половиц…

Афанасьев помогает возчику и сторожу-инвалиду перетаскивать в квартиру немудреное свое имущество. Вот ведь хорошо — и кабинет рабочий есть, стол письменный, и шкафы, шкафы для книг! А сундучок можно сюда, в угол, приткните как-нибудь — и делу конец! Откуда ни возьмись, появляется в двери лохматый черный кот; сверкающими зелеными глазами уставился насмешливо на всю эту суету. Здравствуй, друг-приятель! Как тебя зовут? Не иначе Котофей Иваныч! Милости просим, Котофей Иваныч! Кот, ступая мягко и важно, пересекает комнату, подходит к Афанасьеву, трется о его ноги.

Ну-с, кажется, обживаемся…

За тринадцать лет Афанасьев обживется в архиве, будет неизменно пользоваться уважением как толковый и знающий работник, займет должность правителя дел Комиссии печатания

государственных грамот и договоров, в чине продвинется до надворного советника, что соответствовало воинскому званию подполковника. Через руки Афанасьева пройдут за тринадцать лет бесценные сокровища архива — древние новгородские грамоты и родословные русских государей, царские манифесты и секретные указы, бумаги Петра Первого и письма Гришки Отрепьева, государственные печати и азбуки для тайной переписки. Тринадцать лет к услугам Афанасьева будет богатейшая библиотека архива — тридцать тысяч томов и тысяча шестьсот пятьдесят рукописей на двадцати пяти языках.

Место архивного чиновника оказалось счастливой находкой.

Это не просто ведомственная фуражка, служба, которая дает средства к жизни и научным занятиям. Афанасьев и на службе не выпустит из пальцев нить от того клубочка, что катится впереди и ведет его по жизни. В старинных делах он будет постоянно открывать для себя новые и новые страницы прошлого, историю народа. В письмах, грамотах, договорах оживет для него язык, на котором говорили двести и триста лет назад. Само прикосновение к памятникам старины радует его, тревожит его воображение, как бы посвящает в тайны минувшего.

Вот, разворачивая тугой свиток бумаг, «столбец», находит он высушенный, готовый превратиться в пыль цветок — фиалку лесную. Должно быть, поэтом был тот неведомый дьяк, что шутливо подшил ее к долгому тяжебному делу. Афанасьев будто видит: низкие своды приказа, тяжелый стол, тускло освещенный лампадой, и за столом усталый человек, который вдруг улыбнулся нечаянной и счастливой мысли, отложил перо, выбрал из лежащего на столе букетца фиалку покрупней да посвежей и, прежде чем подклеить исписанный лист к предыдущему и свернуть в столбец, тремя быстрыми стежками пришил цветок к бумаге. Афанасьеву кажется, что легкий душистый запах еще исходит от фиалки; и он радуется и волнуется, встречая эту улыбку, не затерянную в столетиях.

Тихая архивная уединенность поможет Афанасьеву сосредоточиться на своем. Друзья всегда замечали, что, оживленный, веселый и разговорчивый в кругу близких, Афанасьев в большом обществе застенчив и молчалив. В архиве убедится Афанасьев, что с собственными мыслями ему лучше и легче всего наедине.

Начало службы в архиве совпадает со зрелостью Афанасьева. Именно с этой поры его исследования становятся все шире и самобытней. Сбросив в конце присутственного дня неудобный мундир и принимаясь за собственные ученые труды, поймет Афанасьев, что не такую-то злую шутку сыграла с ним судьба, что

науке, не возведенной на кафедру, но запертой в пропахшей министерскими циркулярами профессорской, живется полней и вольготней.

Золотой ключ — слово

…Стрелец-молодец зашел в темный густой лес и видит — сидит на дереве горлица. Прицелился он, выпалил и перешиб птице крылышко. Говорит стрельцу горлица: «Ах, стрелец-молодец, не своди меня с белого света, лучше возьми меня домой, посади на окошечко и, как найдет на меня дремота, ударь меня правой рукою наотмашь, — добудешь себе великое счастье!» Принес стрелец птицу домой, посадил на окошко, сам стоит дожидается. Положила горлица голову под крылышко и задремала. Тут стрелец правой рукою ударил ее наотмашь, пала горлица наземь и сделалась душой-девицей, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать.

Так начинается сказка «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Афанасьев получил письмо от поэта Некрасова, издателя журнала «Современник». Некрасов спрашивает, отчего Афанасьев не присылает в журнал статей: «Вероятно, сердитесь, что я Вам не шлю денег».

Афанасьев уже напечатал в «Современнике» несколько статей по русской истории.

В другом письме Некрасов опять просит Афанасьева не отходить от журнала, пишет: «С следующего года я намерен расширить отдел критики и много надежд в этом отношении основываю на Вас». Некрасов хочет, чтобы в «Современнике» печатались разборы всех выходящих книг по русской истории и просит Афанасьева «принять на себя ответственность за полноту этого отдела».

Некрасов умел быстро и метко определять цену людям. Он встречался с Афанасьевым у Грановского; у Щепкиных, наверно, тоже встречался.

В объявлениях «Современника» перечислялись авторы журнала; имя Афанасьева стояло рядом с именами Тургенеза, Гончарова, Григоровича, Соловьева, Грановского, — лучшего, кажется, не пожелаешь! Афанасьеву немногим больше двадцати.

Но Афанасьев понимает, что пока стреляет птице в крылышко, а нужно ударить ее наотмашь, чтобы сделалась

прекрасной девицей. Про жизнь говорят, что получилась, когда человек сделал в ней нечто свое и удивил современников необычностью деяния — превратил горлицу в девушку.

Понемногу начинают появляться ученые труды Афанасьева, которые удивляют читателей неожиданной новизной.

Афанасьев начал вроде бы издалека: задумался над возникновением языка, над происхождением отдельных слов.

Он, случалось, покидал свой кабинет, ездил на раскопки. Копали тысячелетние курганы — находили бронзовый браслет, костяной нож. Раскопки помогали вообразить быт древних людей: охоту и ремесло, жилище, одежду, утварь. Но есть один-единственный памятник глубочайшей старины, который позволяет проникнуть во внутренний мир человека — слово.

Всякий язык начинался с образования слов; в них люди выражали свои впечатления от окружающей природы, от того, что видели, слышали, осязали. Слова поначалу заключали в себе точные признаки, качества, характеристики предметов и явлений. Слово не было просто знаком для определения понятия, — слово «живописало» самые главные свойства понятия.

Афанасьев убеждается в этом, вслушиваясь в язык народа. Мы выглядываем утром в окно и бросаем небрежно: «Дождь». У крестьянина же найдется для дождя добрый десяток названий: «ливень», или мелкий дождь — «ситничек», или «морось» — это еще мельче ситничка, или «сеногной», или «косохлест», или «лепень» — дождь со снегом. И каждое из этих слов не просто сообщит нам, что делается за окном на улице, но сообщит точно и образно.

Даже слова, которые мы и поныне употребляем, говорили некогда человеку много больше, чем нам. От долгого употребления слова как бы теряют свой живописующий характер, с высоты поэтического, картинного изображения нисходят до простого наименования. Часто ли мы теперь связываем в воображении слова «синица» и «синий», «пирог» и «пир», «сыр» и «сырой», «лихорадка» и «лихо».

Мы даже говорим радостно: «Возместил убытки с лихвою». А «лихо» обозначает «зло», и старая пословица учит: «Лихва — не разжига», «Хлеб с водою, да не пирог с лихвою».

Привычной скороговоркой мы повторяем сказку:

На море, на окаяне,
На острове, на Буяне…

Афанасьев видит в слове золотой ключ, которым отпирается сундук с заветным кладом; он восстанавливает начальное

значение слова, и это направляет поиск, подсказывает путь к разгадке сказочного образа.

Читаем статью Афанасьева «Языческие предания об острове Буяне».

Название острова «Буян» — от корня «буй». Это то же, что «буйный», но слово означало не только «смелый», «отчаянный»: некогда оно имело тот же смысл, что и слово «ярый», то есть «огненный», «пылкий», «весенний», «горячий», «сверкающий». В «Слове о полку Игореве» брат Игоря назван и «буй тур Всеволод» и «яр тур Всеволод». Корень «яр» ведет нас к Ярилу — языческому божеству солнца и плодородия. Остров Буян оживает в древних преданиях как дом солнца, солнечное царство. Сюда прячется светило по ночам, здесь проводит долгую зиму. Не мудрено, что остров Буян — страна вечного лета, край плодородия. Живут на острове огромная змея, всем змеям старшая, и ворон-птица, всем воронам старший брат, и зверь Индрик, всем зверям отец, и кит-рыба, всем рыбам мать. Движется солнце над землею, дарит ей свет и тепло, и следом за солнцем движутся и заселяют землю животные и растения.

Разгаданный корень слова оказался чутким компасом в научном плавании Афанасьева.

Русский ученый Федор Иванович Буслаев, который одновременно с Афанасьевым размышлял над теми же задачами, хорошо сказал: слово вначале выражало нагляднее впечатление, а потом стало условным знаком, — так монета от многолетнего оборота, переходя из рук в руки, теряет свой чеканный рельеф и сохраняет только обозначенный на ней смысл ценности.

Афанасьеву важно восстановить «чеканный рельефа, понять первоначальную образность слова.

Первобытный человек для Афанасьева — дитя и поэт. Дитя — он оживляет природу, она понятна для него, только если похожа на него самого. Поэт — он видит картину за каждым произнесенным словом. Дитя и поэт, он придумал, что солнце восходит и заходит, что буря воет, что звезды смотрят с неба. Дитя и поэт, он легко представил себе солнце в виде прекрасной женщины в ярком сарафане и в сверкающем кокошнике, увидел чудовище-бурю, которое колотило в окна и двери его жилища, сравнивал звезды со своими глазами и назвал их «очами неба».

Схожие признаки роднили для древнего человека разные предметы и явления. Молния была для него мечом, топором, ножом. Гроза с ее громовыми раскатами — кузницей и молотьбою. Радуга — серпом, луком, коромыслом, поясом.

Современный поэт на основе подмеченного сходства создает поэтические образы; человек древности в поэтических образах

высказывал свои подлинные представления о мире.

Вспомним прекрасные строки пушкинской сказки:

«Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч…»

Точный и зримый образ «стаей», «стадом» тянувшихся по небу туч Пушкин взял из народной поэзии.

Но люди древних пастушеских племен видели прямое сходство между своими стадами и тучами, проплывающими над головой. Скот давал людям пропитание и одежду, тучи, изливаясь на землю дождем, поднимали всходы, приносили изобилие.

Родилось представление о стадах небесных коров, дождь обернулся благодатным молоком. Темные тучи оказались черными коровами, светлые облака или облака, пронизанные золотыми солнечными лучами, — коровами белыми и рыжими. Появилась примета — в ней и вовсе смешаны стада небесные и земные: если вечером впереди стада идет черная корова, то завтра день ненастный, а если белая или рыжая, то солнечный.

Ночь в древних поверьях обыкновенно связана с мрачною тучею, в старинных загадках и пословицах сохранилось представление о ночи в образе черной коровы: «Черная корова весь мир поборола» — уложила всех спать.

Острый серп молодого месяца воображение человека без труда поместило на голову черной коровы — это были ее золотые рога.

Пушкин, как никто другой чувствовавший поэтическое слово народа, писал в той же сказке:

«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок…»

Афанасьев уже задумывается над тем, чтобы разгадать сложившиеся в глубине столетий образы русских сказок.

Но пока проникновение в слово, изучение преданий, примет, поверий нужны ему для того, чтобы в живописных деталях восстановить далекое прошлое народа, внутренний мир людей прошлого.

Священный очаг славянина и дедушка-домовой

Вместе с Афанасьевым совершим небольшое путешествие в седую старину.

Путь наш лежит в славянское поселение, что раскинулось на берегу неширокой реки.

Берега густо заросли высоким, сочным камышом. Лежат в камышах вытащенные из воды долбленые лодки-однодеревки.

По дороге, мягкой от пыли, поднимаемся к крайнему дому. Зайдем внутрь, сядем на скамью за широкий, дочиста выскобленный стол.

Нам предстоит познакомиться поближе с жилищем славянина.

Но не будем приглядываться, как сложены стены, из чего сделаны окна, поката ли крыша. Мы хотим узнать, какие представления, верования связаны у хозяина с его жилищем.

Главное место в избе — очаг.

Семья велика, вырастают сыновья, приводят в избу жен, появляются дети. Но очаг — один для всех, и для всех варится на нем общий обед или ужин.

Огонь домашнего очага почитается божеством, охраняющим богатство семьи, ее спокойствие и счастье.

Само слово «изба» произошло от древнего «истба», «истопка», — жилище получило название от священного действия, совершаемого с помощью очага.

Хозяин и владетель дома был одновременно и хранителем огня; он именовался «огнищанином». Про старейшую в доме женщину, хозяйку, говорили, что она хороша, если от нее дымом пахнет.

Обожествление очага делало избу первым маленьким языческим храмом. И это сохранилось в языке: слова «хоромы» и «храм» от одного корня.

Перед очагом совершали религиозные обряды.

Огню приносили жертвы. Когда солнце поворачивало на лето, сыпали в пламя зерно, лили масло, чтобы выпросить богатый урожай.

Огонь прогонял холод и мрак и тем побеждал «нечистую силу». Родилось представление о целительных свойствах огня. Перед очагом лечили больных: окуривали их дымом, поили и умывали заговоренной водой с углем и золою. Той же водой обмывали притолоку и косяки двери, чтобы не вошли в дом «болести».

Очаг мог предсказывать будущее. По виду и цвету пламени, по расположению горящих дров и головешек, по искрам, разлетающимся от удара кочергой, гадали о том, что ждет семью,

о счастье и богатстве.

Очаг — священное место — приносил безопасность. Даже враг, придя в избу, чувствовал себя надежно, пока был под защитой очага.

Угол избы, где находился очаг, — задний — и передний угол, наискосок от очага, пользовались особым почетом. Место на лавке в переднем углу называлось «большое» или «княженецкое». Сюда сажали самых именитых гостей, молодых после венца («князя» и «княгиню»), за трапезой здесь сидел хозяин дома.

Но вообще славянин питал уважение ко всем углам своей избы. В углах сходились стены — границы тепла и света, излучаемых очагом. По углам дома совершались многие обряды. В новой избе окуривали углы медвежьей шерстью и произносили при этом заговоры.

Божество очага со временем приобрело человеческий облик и превратилось в дедушку-домового.

Это невысокий, плотный старик в коротком зипуне или синем кафтане с алым поясом. У него седая борода, волосы косматы и застилают лицо. Иногда домовой представлялся совсем мохнатым, даже ладони и подошвы покрыты шерстью: он ходит босиком по снегу, а по ночам любит гладить спящих, которые чувствуют сквозь сон, как шерстит его рука. Голос у домового суровый и глухой, он часто бранится. Живет домовой за печкой, куда кладут для него маленькие хлебцы.

Домовой сторожит избу, бережет скот, охраняет богатство семьи. Ночью он «балует» — заплетает косичками хвосты и гривы лошадям, а хозяину бороду; этим дедушка-домовой выказывает свою любовь.

У дедушки есть обычно любимая лошадь, он подсыпает ей лишнего корму (и не считает за грех стащить немного овса у соседей). Хозяева примечают, какой шерсти животных предпочитает домовой, и стараются держать лошадей, собак и кошек одной масти.

Домовой сочувствует семейной радости и семейному горю. Протяжно воет у себя за печкой, если кто в доме умирает. Смерть хозяина предвещает заранее: надевает его шапку и выполняет хозяйскую работу.

Свой домовой постоянно воюет с чужим. Победу чужого семья сразу чувствует: чужой домовой начинает выживать ее из дому — ночью щиплет спящих, стаскивает хозяина с постели, хлопает дверьми, спутывает гривы лошадям.

Когда семья строит новую избу, очень важно, чтобы она понравилась дедушке-домовому, чтобы он перешел в нее.

Выбрав место для новой избы, хозяин и хозяйка тайно, ночью,

приходили туда, отрубали голову у принесенного с собой петуха и зарывали в землю там, где быть переднему углу. (Может быть, отсюда и пошла «избушка на курьих ножках»?)

Петух — птица очага, священного огня, любимая птица домового. На рассвете петух призывает криком солнце, он приветствует светило, прогоняет нечистую силу ночи. Недаром злые чары сильны лишь до той поры, пока трижды не прокричал петух; им не побороть пришедшего вместе с солнцем тепла и света. Представление о петухе как о птице огня осталось в языке. «Пустить красного петуха» — значит разжечь пожар. Загадка «Красный кочеток по нашестке бежит» разгадывается — огонь. «Красненький петушок по жердочке скачет» — горящая лучина.

Когда изба была возведена, в нее приносили кошку — любимого зверя дедушки-домового. Говорили: «Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь на богатый двор!» Потом начинала переселяться семья. Старший выгребал из очага старого дома весь жар, до последнего уголька, в чистый горшок, покрывал его скатертью, отворял дверь и обращался к заднему углу: «Милости просим, дедушка, на новое жилье!»

В новой избе встречали того, кто нес горшок, а вместе с ним и самого домового, хлебом-солью. Угольня высыпали в новый очаг, вздували пламя, а горшок разбивали, чтобы не пользоваться им в обиходе, и черепки зарывали в переднем углу. Недаром считается: бить посуду — к счастью.

Так вырастал в селении новый храм, и по-прежнему благодарно поклонялись люди жарко пылающему очагу, который защищал их от тьмы и холода, радовал горячей пищей.

…Что ни день, отправляется Афанасьев путешествовать в прошлое. Заходит в жилище язычника-славянина; идет с нашими предками на охоту, смотрит, как они пашут землю деревянной сохой, ловят рыбу, куют железо. Знакомится с домовым и лешим, с ведунами и ведьмами. Расспрашивает людей минувшего, что думают они об огне и воде, о земле и небесных светилах, о диких зверях и домашних животных. Взгляд древнего человека на мир Афанасьев предполагает найти и в сказке с ее героями и приключениями.

Сказка, к которой подступается Афанасьев, для него поэзия и история одновременно.

"А рассказать тебе сказку?.."

Тимонинские прогулки

Афанасьев приехал погостить к Щепкиным в Тимонино. Это небольшое подмосковное сельцо купил Николай Михайлович Щепкин, сын актера.

Николай Михайлович был прежде драгунским офицером и служил в одном полку с братом Афанасьева. Теперь, в отставке, он ищет полезного дела, вот купил Тимонино, помогает крестьянам хозяйствовать «по науке». Приобретает для них хорошие семена, выписал из-за границы какие-то машины.

За утренним чаем у Щепкиных говорят о посевах и покосах, о молотьбе. Потом Николай Михайлович торопится на край села — там он строит больницу для крестьян.

Афанасьев собирает детей (их в доме много — гости приезжают к хлебосольным Щепкиным целыми семьями), идет с ними в лес. По дороге прихватывают с десяток деревенских ребятишек.

Тропа ныряет в густой кустарник, надо продраться сквозь него и выберешься на поляну, лилово-желтую от высоких цветов иван-да-марьи. Роса еще не высохла — на траве, на цветах вспыхивают крупные оранжевые и голубые шарики.

Афанасьев нагибается, осторожно срывает травинку, на которой дрожит — вот-вот скатится! — нежная сверкающая

капля. Говорит загадочно:

— Живая вода! Кто ею умывается, век будет молодым да красивым.

Земляника уже поспела; ягоды яркие, красные, в полпальца каждая, клонят к земле стебелек с тройчатым резным листком.

— Александр Николаич, — предлагают деревенские ребята, — давайте картуз, мы вам ягод наберем.

— Никак нельзя, — Афанасьев поправляет на голове чиновничью фуражку, — это у меня не простой картуз: шапка-невидимка.

— А чего ж вас видно?

— Это вам видно. А лютый враг чует — русским духом пахнет, глядит по сторонам: «Где тут Афанасьев? Какой такой из себя?» — и не найдет никак…

Ребята разбрелись по лесу, аукаются.

— Ау! — кричит Афанасьев. — Сюда скорей! Медведь!

Ребята мигом сбегаются, дышат тяжело, смотрят кто весело, а кто и со страхом.

— Где? Где медведь?

— Да вон! Вон он! — Афанасьев показывает на большой, заросший мхом пень. — Только что шевелился. Да близко-то не подходите: утащит к себе в избу, и следа не отыщешь!

Но ребята больше не отходят от него, они знают, чем заканчиваются прогулки с Афанасьевым, и кто-то уже просит смело:

— Александр Николаевич, расскажите сказку!

— Да чего ж рассказывать, — отвечает Афанасьев, — мы к так в сказке.

— Нет, расскажите! Ну пожалуйста! Настоящую! Сказку!

Афанасьев хитро щурится:

— А рассказать ли вам докучную сказочку?

— Расскажите!

— Ты говоришь: расскажи. Я говорю: расскажи. А рассказать ли вам докучную сказочку?

— Не надо.

— Ты говоришь: не надо. Я говорю: не надо…

— Ну, Александр Николаевич!..

Афанасьев, выбирая из памяти сказку, загляделся на лилово-желтые — словно ясное солнце вышивало золотом по густоцветному небу — россыпи иван-да-марьи.

— Хорошо. Будет вам сказка про Ивана-царевича и Марью Моревну, прекрасную королевну. Только, чур, не перебивать!

И начинает неспешно:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был…

Афанасьев сидит на лесной полянке. Окружили его притихшие ребята. Течет сказка. Он думает: «А что за власть у сказки, что за сила! Века проходят, сменяются царства-государства, а сказка остается, живет. Как это небо над головою, как этот дремучий лес, как трава. И все манит людей, не отпускает; только начни — заслушается и млад и стар. И разве «докучная сказка» означает «скучная»? Нет — бесконечная! Потому что нет сказке конца. И «докучать» — значит умолять, просить неотступно. Потому что, едва договоришь сказку, уже несется со всех сторон: «Еще, еще!..»

…Вечерами Афанасьев гуляет один. Быстрым шагом проходит пустеющую деревенскую улицу. За околицей раскинулось поле. Сладко пахнет вошедшим в рост горохом. Туман плоской сизой дымкой стелется над потускневшей к вечеру зеленью поля. Солнце, волшебное золотое яйцо, плывет, минуя белую пену облаков, по темно-голубому морю. С края неба тяжелой горной грядой поднимается навстречу солнцу черная туча. В мрачных горах построил свой дворец Змей Горыныч. Солнце, алея понемногу, сползает в тучу. Край тучи вдруг взметнулся, вырос на треть неба, выбросил в обе стороны громадные страшные крылья. Афанасьев видит; похищает лютый Змей сказочную царевну Ненаглядную Красу. Багровым пламенем полыхнула вдали разинутая пасть Змея. И поплыли испуганно прочь от черной тучи еще озаренные невидимым солнцем белые с золотыми перышками лебеди-облака.

Афанасьев видит, как рождалась сказка.

Ему кажется: она заново рождается в нем.

Он чувствует себя первым сказочником — самым первым, с которого сказка и началась.

Афанасьев читает сказку

Афанасьеву представляется иногда: долго ли, коротко ли шел он чистым полем и набрел на заветный камень, сдвинул его плечом, увидел ход, спустился в сказочное царство, а там, оказалось, и сокрыта его судьба…

Пылятся в архиве Географического общества папки с записями сказок. Афанасьев вступил в это общество, решил издавать сказки, задумал вынести их на белый свет.

По белу свету, по далеким окраинам России прокладывали пути экспедиции, посланные Географическим обществом.

Деятельность общества ширилась. Его отделы открывались на Урале и в Сибири, на Украине и на Кавказе. Общество собиралось серьезно изучать нравы и язык народа, его поверья, сказки, песни: «Все, что народ сохранил от прошедшего, может повести часто к весьма важным заключениям». Замыслы общества совпадали с замыслами Афанасьева.

Весть о его намерении быстро разнеслась. В губерниях и уездах повеселели собиратели — их труд приобретал отныне важный смысл, новую цель.

Со всех концов страны потекли к — Афанасьеву веселые, прозрачные ручейки записей.

Растет стопа сказок на письменном столе у Афанасьева. Листы исписаны ровным учительским почерком, и однообразно округлым — чиновническим, и корявым почерком крестьян.

Окончены служебные часы, зажигаются свечи на столе, — так Афанасьев переходит в мир сказок.

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был…»

Афанасьева тотчас покоряет *красота* сказки — ее поэтическая искренность, чистота, ее детская наивность и доверчивость, живописная меткость слова. Он писал, что сказка пробуждает в человеке теплую любовь к людям, благородные намерения, освежает чувства.

Но первоначальная пленительная поэзия сказки — это еще Медное царство. Здесь получает Афанасьев серебряное колечко, идет дальше.

И в Серебряном царстве открывается ему благородный *смысл* сказку вызревший в уме и сердце народа. Кривде и Злу никогда не побить Правды и Добра. Бедняк, готовый отдать убогому последнюю краюху, побеждает жадного Богача. Счастье золотым яблоком падает в руки Сироте, а не жестокой Мачехе. И настоящий герой сказки — человек добрый, простой и душевный, которого злые и хитрые люди называют с насмешкою Дураком.

Но Афанасьеву нужно золотое колечко. Он спешит в Золотое царство. Там хочет он *понять* значение сказки: разгадать сокровенную суть ее событий и образов, увидеть ее появление; он хочет побывать среди тех первых сказочников, для которых все вокруг было неведомым, таинственным и чудесным, — солнце, звезды, тучи, река.

В Золотом царстве сказку читает Афанасьев-ученый. Ищет в ней отзвуки древних представлений и верований. Его манят открытия.

Вместе с Афанасьевым-ученым прочитаем сказку про Марью Моревну.

…В некотором царстве, в некотором государстве жил-был

Иван-царевич; у него было три сестры: одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна. Пошел царевич с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой!» — говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол, ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом; хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать…»

Вскоре Ольгу-царевну посватал орел, а Анну-царевну— ворон. Унесли птицы царевен в свои далекие царства.

Женихи-птицы, прилетающие с грозой, темными тучами, вихрем, молнией, — это образы стихий, объясняет Афанасьев. В некоторых записях сказок женихов прямо зовут: Дождь, Гром, Ветер. Так же и красные девицы, которых сватают, выступают иногда под именами Солнца, Луны, Звезды. Люди видели, как во время грозы исчезают на небе светила, — поэтический язык сказки создал образ похищенных красавиц.

Заскучал Иван-царевич один и собрался в дорогу — сестриц навестить. Наезжал он на шатры белые, выходила к нему навстречу Марья Моревна: «Здравствуй, царевич. Куда едешь — по воле аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич: «Добры молодцы по неволе не ездят». — «Ну, коли не к спеху, погости у меня».

Остался Иван-царевич, погостил два дня, полюбил Марью Моревну да и женился на ней.

Марья Моревна, говорит Афанасьев, — поэтический образ солнца. В отчестве ее — «Моревна» — высказано представление о солнце, как о дочери моря (героиня другой сказки Василиса Премудрая прямо названа дочерью Морского царя). Солнце восходит из-за моря и опускается в него. На рассвете и закате солнце «купается» в море, — не отсюда ли частый образ сказок: «купающиеся царевны». «Вдруг прилетают двенадцать голубиц; ударились о сыру землю и обернулись красными девицами, все до единой красоты несказанныя: ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать! Поскидали платья и пустились в озеро: играют, плещутся, смеются, песни поют».

…Уезжала Марья Моревна из своего дворца, Ивану-царевичу наказывала: «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать!» Но Иван-царевич не вытерпел. Как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул — а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Сжалься надо мной, дай мне напиться!» Пожалел его царевич, дал ему ведро

воды. Кощей опять запросил. Царевич дал ему другое ведро, потом третье. Как выпил Кощей третье ведро — взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал. Сказал: «Спасибо, Иван-царевич! Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих!» — и страшным вихрем вылетел в окно.

Кощей на железных цепях, размышляет Афанасьев, — это туча, окованная зимним холодом. Она снова набирает силу, когда вдоволь напьется воды, то есть весною. Тогда она срывается с места и уносит Марью Моревну — закрывает солнце.

…Снарядился Иван-царевич и пошел в путь-дорогу: «Что ни будет, а разыщу Марью Моревну!» Долго брел по белу свету, наконец увидал Кощеев дворец. Нашел Марью Моревну и увел с собою. Но Кощей Бессмертный догнал их на добром коне, Марью Моревну отобрал, а Ивану-царевичу сказал: «Ну, первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил; и в другой раз прощу, а в третий берегись — на куски изрублю!» Не послушал его Иван-царевич, в другой раз увел Марью Моревну, — Кощей опять их догнал, а в третий раз изрубил Кощей Ивана-царевича на куски, сложил в смоленую бочку, скрепил бочку железными обручами и бросил в синее море. Спасли царевича зятья: орел поднял бурю, и волны выбросили бочку на берег; сокол подхватил ее, унес в поднебесье, бросил с высоты и разбил; а ворон полетел за живою и мертвою водою (в некоторых записях сокол летит за живей водой, а ворон — за мертвой).

Так ветры приносят облака, из которых льются оживляющие землю дожди, замечает Афанасьев.

…Трудной службой у Бабы-Яги, умом и смекалкой добыл себе Иван-царевич богатырского коня и увез на нем Марью Моревну. А когда стал их Кощей догонять, конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и убил его.

Иван-царевич на богатырском коне, заключает Афанасьев, есть сам Перун, языческий бог грома и молнии: своим могучим ударом он разбивает тучи и выводит солнце из-за темных гор.

В ученых статьях Афанасьев отвергает пословицу «Сказка — складка, а песня — быль». Сказка — не пустая складка, пишет Афанасьев, в ней, как и во всех созданиях целого народа, не могло быть и нет ни нарочно сочиненной лжи, ни уклонения от действительного мира. Чудеса сказки — это чудеса могучих сил природы, увиденные глазами древности. А сама сказка — это родившийся в далекие времена рассказ человека о природе. Чтобы понять первоначальное значение сказки, мы должны снова найти живое понимание древних преданий, тогда все загадочное объяснится само собою.

Кто такая Баба-Яга?

…Стоит в дремучем лесу избушка на курьих ножках, когда надо — повертывается.

«Избушка, избушка, повернись к нам передом, а к лесу задом; нам в тебя лести, хлеба-соли ести».

Избушка повернулась. В избушке на печке лежит Баба-Яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок…

Во многих сказках живет таинственная лесная старуха. То и дело, глядишь, заводит добра молодца тропинка к ней в избушку.

Шел-шел Иван-царевич, видит — стоит хатка на курьих лапках, на собачьих пятках. «Хатка, хатка! Повернись к лесу задом, ко мне передом». Хатка повернулась. Иван-царевич вошел, а в хатке лежит Баба-Яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос. «Фу-фу! — говорит она. — Доселева русского духа не слыхать было, а нынче русский дух воочию проявляется, в нос бросается! Почто пришел, Иван-царевич?..»

Но бывает, не по доброй воле оказывается человек в избушке на курьих ножках.

…Схватила Баба-Яга мальчика Лутонюшку и утащила в свою избу. Приказала дочери истопить избу жарко-жарко, Лутоньку ожарить…

А когда перехитрит герой Бабу-Ягу, ускользнет из страшной ее печи, бросается она в погоню:

…Баба-Яга, костяная нога, села на ступу, толкачом погоняет, помелом плед заметает…

Живет в сказках таинственная старуха.

То добрая помощница героя — одаривает его и чудесным коном богатырским, и путеводным клубочком, и волшебным полотенцем: махнешь одним концом — тотчас явится мост.

То злая людоедка, похитительница детей — норовит изжарить их в своей печи.

Кто же она — Баба-Яга?

Вопрос не пустой для тех, кто, подобно Афанасьеву, видит в сказке не праздную выдумку, кто ищет в сказке историю народа.

Ученые по крупицам собирают сведения о далеком прошлом человечества, чтобы понять, как родился сказочный вымысел. Вникают в древнейшие обычаи, поверья, обряды, чтобы найти жизненную основу сказочных образов и чудес.

…Опытные мужчины уводили юношу в глухой лес, в тайное

место, известное лишь немногим. Там, в чаще, обычно стояла хижина, обозначавшая ужасное чудовище. Дверь была «пастью»: юноша входил в хижину — так чудовище «проглатывало» его.

В лесной чащобе мудрые старики открывали юноше предания и верования рода, объясняли правила жизни, обучали его приемам охоты, мужским песням и пляскам.

Это называлось обрядом посвящения.

Уводили в лес юношу, мальчика, а возвращался оттуда полноправный член рода, воин, охотник, муж.

Считалось, что во время обряда юноша умирает, а потом оживает опять — уже новым человеком.

Юношу условно, *понарошку*, сжигали, жарили, изрубали на куски, отдавали на съедение чудовищу, а после воскрешали снова. Это «понарошку» не было безобидным: посвящаемого испытывали огнем, били, рассекали ему кожу.

Иван-царевич, вступающий в дремучий лес, чтобы совершить подвиги и достигнуть благополучия в конце сказки, сродни юноше, который проходил обряд посвящения и становился настоящим мужчиной.

Совершали обряд и над детьми, не достигшими юности. Их заводили в лес и бросали там — они сами должны найти дорогу к хижине, приспособленной для совершения обряда. Иногда мужчины похищали мальчика тайно, а женщинам говорили, что его унесло чудовище.

Отголоски древнейших обрядов слышатся в сказке.

Некоторые нынешние исследователи сказок находят в образе Бабы-Яги следы древнего обряда посвящения.

Но и обряды возникли не сами по себе, а выросли из старобытных верований.

Яга живет в лесу, и в лесу производился обряд посвящения. Лес был преграда на пути, граница неведомого, лес был *иное царство*.

Избушка на курьих ножках — застава у входа в лес. Ни объехать, ни обойти ее нельзя. В нее надо войти. Надо встретиться с ее хозяйкой.

Избушка стоит лицом к неведомому тридесятому царству, там-то и предстоит герою совершить свои подвиги, пройти испытания. Чтобы войти в избушку, надо поворотить ее заклинанием.

Сопоставляя предания, поверья и обряды разных народов, некоторые ученые пришли к выводу, что тридесятое царство, вход в которое охраняет избушка Бабы-Яги, — это царство смерти.

Да и сама Яга сохранила в сказке все обличие мертвеца: лежит она в своей избе, как в гробу, из угла в угол, и нос у нее в

потолок врос, и нога костяная.

Но герой доказывает, что имеет право войти в таинственное тридесятое царство. Он знает заклинание, которое поворачивает избушку. Он умеет разговаривать с Бабой-Ягой: «Ну, старая! Чего кричишь? Ты прежде напои-накорми, в баню своди, да после про вести и спрашивай». Он смело принимается за угощение, которым потчует его старуха. Герой показывает Бабе-Яге, что он *свой*, что не заслужил ее лютой злобы, а вовсе наоборот — может рассчитывать на ее помощь.

И вот:

«Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг — откуда только взялись! — набежали всякие звери, излетели всякие птицы. «Гой есте, звери лесные и птицы воздушные! Вы, звери, везде рыскаете; вы, птицы, всюду летаете: не слыхали ль, как дойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что?»

И в другой раз:

«Крикнула старуха громким голосом — и приплыли к ней все гады и рыбы морские: так и кишат!»

Баба-Яга называет зверей своими слугами.

В далекой древности люди считали смерть превращением в животных.

Баба-Яга, повелительница зверей, охраняет вход в царство мертвых.

Люди верили в сокровенную связь свою с животными; каждый род знал животных, которые были ему особенно близки — оказывали услуги, предупреждали об опасности. Связь со *своими* животными передавалась от поколения к поколению по материнской линии.

Баба-Яга, которая лежит «из угла в угол» избушки, похитительница детей и странная помощница, владеет чудесными предметами и повелевает зверьми. Она пропускает героя в глубь дремучего леса, в неведомое тридесятое царство, и он выходит оттуда, ставши отважнее и умнее.

Люди верили, что в земных делах им помогают предки, давно ушедшие в «иное», «тридесятое» царство, что предки следят за жизнью людей своего рода, своей семьи и вмешиваются в нее.

Нынешние ученые видят в Бабе-Яге образ предка-помощника по материнской линии, в которого верили древние.

Афанасьев не знал о Яге всего, что знают сегодняшние исследователи, но знал много. В его трудах припасены бесчисленные наблюдения, ценные замечания, без которых ученые не могут обойтись и сегодня.

Но Афанасьев взглянул на Бабу-Ягу по-своему. Баба-Яга

распоряжается естественными силами природы, объяснил он, и сама сливается с ними: вихрем проносится она по воздуху в своей ступе и размахивает помелом, вызывая бури и метели. Афанасьев считал ступу Бабы-Яги воплощением грозовой тучи, а толкач или клюку — палицей языческого бога Перуна, образом молнии.

Царевна-лягушка и золотые яблоки-молнии

Учитель Афанасьева, профессор Кавелин, сказал как-то: «Обряды, религиозные верования, предрассудки упорно хранят тайну своего значения и смысла. Чтобы заставить их говорить, нужны известные приемы, известная манера, способ спрашивать».

Ученые старались разными способами выведать тайное значение сказки, заставить ее говорить с ними не языком бахаря, а языком науки.

Одни поражались сходству сказок многих народов, прокладывали на географических картах пути движения сказок по белу свету, находили в них следы преданий и верований, которые народы заимствовали друг у друга.

Иные искали «прародину» сказок и одного далекого «предка» сказки, которая во многих обликах и одежках живет теперь у разных народов; поиски уводили караванными дорогами на Восток, к древним индийским сказаниям.

Третьи обнаружили родство в быте и нравах первобытных народов, родство их представлений о мире и поэтического воображения; предположили — сходные сказки рождались независимо друг от друга у всех народов земли.

Четвертые стремились связать русскую народную поэзию с русской историей, прислушивались к созвучию имен и географических названий, в исторических памятниках пытались обнаружить действительные события, которые — измененные и перелицованные — могли стать основой былины или сказки…

Афанасьев один из первых начал спрашивать сказку о смысле, в ней сокрытом, — и спрашивал по-своему.

Он сравнивал сказки разных народов, искал их корни в восточных сказаниях, изучал древние обряды и верования, но рождение сказки и тайный смысл ее всегда видел в отношении первобытного человека к «миру стихий и небесных светил».

Афанасьеву казалось, что восход и закат солнца, смена времен года, грохот и сверкание грезы больше всего волновали человека древности, всего сильнее пробуждали в нем чувство

поэзии.

Мы прочитали с Афанасьевым сказку про Марью Моревну, видели, что герои для Афанасьева — божества солнца, неба, света, грома, воды, а их враги — силы тьмы, зимы, холода, туч, пещер.

…Идет медведь на липовой ноге, хочет отомстить старику со старухой за отрубленную лапу. Поет: «Скрипи, нога, скрипи, липовая! И вода-то спит, и земля-то спит, и по селам спят, по деревням спят; одна баба не спит, на моей коже сидит, мою шорстку прядет, мое мясо варит, мою кожу сушит…»

Крестьяне верили: если провести медвежьей лапой по вымени коровы, она станет дойной. Медвежью лапу вешали во дворе — она обладала таинственной силой.

Славяне почитали медведя, думали, что он с человеком в родстве.

В некоторых местах России медведя называют «старик», «дедушка».

В сказках встречаем его то среди животных, то рядом с людьми. Медведь крадет девушек, играет с ними в жмурки. Есть сказочный герой Ивашко-Медведко — он наполовину человек, наполовину медведь.

Афанасьев много знает о медведе, говорит, что для человека был он хозяином леса, царем зверей, но одновременно «представителем бога-громовника». Ступа, жернов, камни, которые хранятся в избе медведя и которые он швыряет во все стороны, гневаясь или играя в жмурки, напоминают Афанасьеву предметы, которыми орудует во время грозы бог грома и молнии Перун. Высасывание меда — любимое занятие зверя — для Афанасьева тоже образ: «небесный мед», по древним верованиям, — дождь, который Перун «высасывает» из туч.

Свои мысли о сокровенном значении сказки Афанасьев утверждает очень упорно.

Афанасьев восторгается светлым смыслом сказки о *Царевне-лягушке*. Иванушка, человек честный и справедливый, не погнался ни за богатством, ни за внешней красотою, а женился на той, которая подобрала его стрелу, — на Лягушке — и был за то вознагражден сторицею.

Ученые находят в образах сказочных мудрых девиц отголоски матриархата — эпохи, когда женщина была главной в семье и обществе.

В известной сказке только старая колченогая лягушка, одна из всех зверей, может сказать, как дойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что.

Странное существо — лягушка была причастна для наших

предков к загадочным и опасным болотным топям, к мрачным сырым зарослям.

Но, подыскивая золотой ключик к сказке, Афанасьев объясняет: прекрасная девушка, превращенная на время в безобразное животное, — это природа, изменившая зимой свой облик. Как и природа, Царевна-лягушка приобретает прежнюю красоту с приходом весны. Чтобы показать свое рукоделье, Царевна-лягушка обращается к *буйным ветрам*, и те приносят ей чудотканые ковер и сорочку (*облака*). Собираясь на царский пир, она мужу наказывает: «Станет накрапывать дождь, ты скажи — это моя жена одевается; а *гром* загремит, говори — это моя жена едет».

Афанасьев полагал, что древние представления о зимнем сне природы отразились и в *сказочном сне*.

Спят герои накануне подвига или вслед за ним спят долгим, непробудным сном. Злые чары, усыпляют прекрасную царевну. Иногда волшебный сон сковывает целое царство.

Богатырский сон героя — это зимний отдых природы после бурных «подвигов», совершенных весной и летом, растолковывает Афанасьев. Поцелуй царевича, который возвращает к жизни и царевну и все ее сонное царство, — прикосновение весеннего солнца к окованной зимой природе.

Зимой все кругом дряхлеет, замирает, земля одевается в снежный саван, но весенние дождевые потоки, омывая землю, возвращают ей молодость и силу плодородия. С этим связано, полагает Афанасьев, появление в сказках *чудесной воды, живой и мертвой*. Первые дожди сгоняют лед и снег, как бы исцеляют землю (мертвая вода называется еще «целющей»), новые дожди приносят зелень и цветение.

До сих пер считается, что умыться весенним дождем — значит, набраться силы, здоровья и красоты. Есть также примета, будто начать какое-нибудь дело под дождем (например, в путь отправиться) — к успеху.

Про цветущего, здорового человека в народе скажут: «Как яблочко румян» или «Как яблочко наливное». Яблоко — плод добрый и целебный. А в сказках есть *молодильные яблоки* — в них та же сила, что в живой воде. Вкусишь от яблока — и станешь тотчас молодым и здоровым. Слабому они дают богатырскую мощь, мертвому возвращают жизнь, безобразного делают прекрасным. «Шары-молнии, — пишет Афанасьев, — породили миф о золотых плодах, зреющих весной и летом на деревьях-тучах».

Сказку про то, как старый, ослепнувший царь послал сына за живой водой и золотыми яблоками, которые должны исцелить

слепоту и вернуть молодость, Афанасьев разгадывает так: старец-Зима (слепота — солнце, потерявшее блеск) ждет прекрасного юношу-Весну с благодатными дождями и бурными грозами — тогда снова придет молодость, расцветет и оживет вся природа.

Юноша-Весна для Афанасьева — это *Иван-царевич*, главный сказочный герой и свершитель славных подвигов. Но Иван-царевич — это и «бог-громовник» Перун.

Вот мчится Иван-царевич на своем быстром и могучем коне: «Конь бежит, земля дрожит, шум по целому свету. Из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, следом горячие головешки летят».

В этих словах сказки Афанасьев видит поэтическую картину грозы; в самом коне изображение стихий: грома, молний, ветра.

Сказочный конь напоминает также грозовую тучу: «Добрый конь осержается, от сырой земли отделяется, поднимается выше лесу стоячего, что пониже облака ходячего, горы и долы промеж ног пропускает, хвостом воды застилает».

Самый известный богатырский конь — *Сивка-бурка вещая каурка*. Его вызывают покриком: «Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой;» Афанасьев разгадывает имя коня. «Сивка» — значит светлый, седой. (Есть загадка про месяц: «Сивый конь через ворота смотрит».) Конь сиво-бурой масти — темно-рыжий с проседью; каурый — рыжий с темным ремнем на спине. Рыжим цветом обозначают в народной поэзии свет, огонь; темным с проседью — тучу.

Едет Иван-царевич на богатырском коне, держит в руке *меч-кладенец*. Добыть меч-кладенец нелегко: лежит он под огромной горой или под ракитовым кустом, который надо с корнем вырвать, а то и в головах у самой Бабы-Яги. Зато теперь никто не страшен Ивану-царевичу. Махнешь мечом направо-налево — порубит он силу несметную.

Афанасьев считает меч-кладенец и *дубинку-самобой* — богатырскую палицу, которая сама врагов сокрушает, — поэтическим изображением молнии.

Олицетворение молнии для Афанасьева и — *Мальчик с пальчик*, быстрый, ловкий, неожиданно возникающий. Сравнение молнии с пальцем часто встречается в языческих представлениях. Мальчик с пальчик прячется в ухе, ноздре или гриве коня-тучи.

Плывущее по небу облако представлялось нашим предкам и конем, и птицей, и летучим кораблем, и *ковром-самолетом*. Бурно несущиеся облака вызывали к жизни образ *сапог-скороходов*. Про *шапку-невидимку* Афанасьев пишет: «Облака, надвигаясь на небо, затемняют светила, а туман, сгущаясь над землею, скрывает от глаз все предметы». *Скатерть-самобранка* — изображение

весеннего облака, приносящего «небесный мед» и «вино» (дождь), дарующего земле плодородие, а людям хлеб. И даже *бочка*, в которую сажают царицу с сыном-богатырем, — дождевая туча, плывущая по небу. Сын — «бог-громовник» — растет не по дням, а по часам и разрывает «бочку» во время грозы, освобождая царицу-солнце.

Объяснения Афанасьева манят увлеченностью, неутомимой проницательностью и неожиданными находками.

Однако настораживают однообразием.

Увлеченная преданность одной теории, неутомимое желание свести к ней разные явления, всё свести «в одну точку», подчас обедняют исследователя. Когда человек, увидев любое число — трех-, четырех-, восьмизначное, — принимается складывать цифры, из которых оно состоит, он, в конечном итоге, получает сумму, не превышающую десяти.

Чернышевский, внимательно приглядываясь еще к первым статьям Афанасьева, находил многие его толкования интересными и удачными. Но предупреждал: желание во всем находить следы древних верований может повредить успеху афанасьевских исследований.

Открытия и увлечения

Золотистое облако проплывало над головой человека, он провожал облако глазами, и в его воображении появлялся образ чудесного ковра-самолета.

Человеку виделось: вот он ступил боязливо на край ковра, осмотрелся, подвинулся к середине — неподвижный ковер плотно лежит под ногами; человек присел, устроился поудобнее, нерешительно проговорил: «Лети!» — ковер плавно и быстро взмыл над землею.

Человек жил столетия назад, его мир был ничтожно мал. Что там, за дальним лесом?.. За краем поля?.. Тайна.

Летит ковер, а перед ним, маня за собою, спешит в расписном сарафане прекрасная царевна — солнце. Далеко внизу проплыл навстречу и остался позади и ближний лес, и дальний, и мрачные змеиные горы уже за спиной, а солнце все манит и спешит к сверкающему золотом и зеленью среди синевы океана диковинному острову Буяну…

Золотистое облачко скрылось за ближним лесом. Человек побрел дальше по маленькой и необъятной своей земле. Осталась

в веках сказка. Живет в сказке мечта о полете.

И тот же человек, или другой, или сотни людей сразу ковыряли деревянной сохой выжженное поле и с надеждой взглядывали на небо — ждали дождя. Они встречали желанную тучу, как чудо. Они, смеясь, подставляли лицо под удары дождя, они ловили губами сладкие капли — в них был завтрашний хлеб и завтрашний хмель. Осталась сказка. В ней нет нужды рыхлить растрескавшееся, как серый камень, поле, туча в сказке расстилается по первому зову — и не туча, а прямо скатерть-самобранка, уставленная яствами. Живет в сказке мечта об изобилии.

Афанасьев ищет первоначальную основу сказки, его наблюдения иногда под стать открытиям, но он увлекается. Ради ученой теории порой забывает, чем сказки живы. Порой забывает, что живет в сказке ковер-самолет — *мечта*, а не кусок «небесной ткани», облака; и золотые яблоки — *мечта*, а не молния; и жар-птица — *мечта*, а не гроза и не солнце. Живет в сказке мечта о свободном и быстром полете, мечта о бессмертии, о вечной молодости и силе, мечта о счастье.

В трудах Афанасьева открывается рождение сказки, но кажется лишним желание угадать в каждом сказочном образе «переодетую» грозовую тучу, молнию или полюбившегося ученому «бога-громовника».

Уже знакомый нам мальчик Ивашечко представляется Афанасьеву «малюткой молнией», а злая ведьма — мрачной тучей, которая поглощает молнию. Всем известный богатырь Илья Муромец, который сиднем сидит, — это окованный зимней стужей «громовник», весной он напьется живой воды и наберется сил, чтобы поднять меч-молнию. Даже веселый работник Балда, по объяснению Афанасьева, не кто иней как бог Перун. Могучие щелчки, которыми Балда платит жадному попу, — конечно же, удары молнии.

Предупреждение Чернышевского, наверно, было не лишним. Чернышевский быстро приметил торопливую увлеченность Афанасьева.

Но и эта страстная увлеченность имеет свое оправдание.

Теперь нетрудно увидеть ограниченность афанасьевских поисков, иной раз невольно улыбнуться над нею.

Афанасьев жил сто лет назад. Сто лет после него ученые разными способами спрашивали сказку о ее тайнах, и сказка отвечала им, иногда неохотно, а подчас свободно и обстоятельно.

Но всякий, кто брался изучать сказку, даже не соглашаясь с толкованиями Афанасьева, не мог уже обойтись без тех бесчисленных сведений, которые он накопил, без сохраненных им

бережно «сих первоначальных игр творческого духа», по которым старался он «наблюдать историю нашего народа».

И кто знает, не увлекался бы, не спешил Афанасьев, — досталось бы нам собрание сказок, равного которому нигде и никогда не бывало?..

Братья Гримм

Афанасьев хлопочет об издании сказок: надо получить разрешение цензора, найти подходящую типографию.

Первый выпуск составлен и переписан; по вечерам Афанасьев перечитывает сказки, располагает их в нужном порядке, еще раз подправляет неточности в тексте.

Волнуется, конечно: как-то примут издание читатели? Многим ли придутся по вкусу незамысловатые похождения Емели, грубоватые хитрости Лисички-сестрички, простецкие подвиги Ивана-царевича?..

Вот выпал свободный часок, Афанасьев идет посмотреть «шерстяную, бабью ярмарку». Продирается сквозь толпу, глядит на качели да карусели, на торговые ряды и палатки, слышит зазывные голоса лотошников, веселые прибаутки балагуров. Толкаются на ярмарке под самыми окнами афанасьевской квартиры истинные хранители и собиратели сказок — крестьяне, а сказки, которые они сохранили, столетиями передавая от поколения к поколению, лежат переписанные на столе у Афанасьева,

Оставим его ненадолго, погруженного в мысли, заботы и хлопоты, и перенесемся в другую страну и к другим людям, которые, однако, связаны с Афанасьевым прочной нитью общего дела.

…Каждое утро, в один и тот же ранний час, по берлинской улице с красивым названием «Унтер ден Линден» — «Под липами» — идут в университет два высоких старика-профессора в одинаковых черных сюртуках и белоснежных шелковых сорочках с широким отложным воротником, повязанным черным галстуком. Старики похожи один на другого — оба с вьющимися седыми волосами до плеч, с внимательными светло-голубыми глазами. Стариков редко видят порознь; в представлении современников и памяти потомков они как бы слиты воедино. Имя их известно в Берлине, в Германии, во всем мире, — братья Гримм.

Старшего зовут Якоб, младшего — Вильгельм. Впрочем, разница в возрасте невелика — всего лишь год.

Братья разные; бурное воображение Якоба уравновешивается терпеливой и спокойной кропотливостью Вильгельма. У каждого свои труды: многотомные, размашисто и смело задуманные издания Якоба и рядом тщательно отделанные, изящные и обстоятельные статьи Вильгельма. У каждого свой круг интересов — необъятно широкий у Якоба и четко ограниченный у Вильгельма. Но оба смолоду занимались древней поэзией немецкого народа, и оба пришли смолоду к одной главной мысли, которую положили в основу своих трудов: народная поэзия хранит следы древнейших представлений и верований (так в пластах каменного угля сохраняются впечатанные в породу следы давно исчезнувших растений).

Эта мысль роднит Афанасьева с Гриммами, но он проверял ее на русских сказках.

Слава пришла к братьям Гримм в 1812 году, когда увидел свет изданный ими сборник «Детские и семейные сказки».

Братья жили тогда в Вестфальском королевстве.

В начале века наполеоновская армия легко прокатилась по раздробленной на мелкие государства Германии. Поэт Гейне позже писал: «Наполеон дунул на Пруссию, и Пруссии не стало». Наполеон, как бы играя, перекраивал карту Германии — упразднял княжества и создавал новые; услужливым придворным чиновникам не хватало красок, чтобы помечать каждое государство своим цветом.

Королевство Вестфальское Наполеон создал для своего младшего брата Жерома. Брат тоже хотел быть королем.

Якоб Гримм служил у короля Жерома придворным библиотекарем. Работа была нетрудная: король не утруждал себя чтением. «Его величество охотнее беседует с молодыми красавицами, нежели со старыми фолиантами», — подобострастно шутили в свито. Во время праздников Жером Бонапарт приказывал выносить книги вон из дворца: библиотека была старинная, большая, занимала много места.

Французская армия до поры легко катилась на восток.

Настоящее казалось завоевателям счастливым, будущее — безмятежным.

В германских университетах и лицеях изучали французскую историю и французское право, французский язык был обязательным в государственных учреждениях и суде, в книжных лавках продавались французские книги.

Якоб Гримм в роскошном — сшитом на французский лад — мундире придворного библиотекаря целые дни просиживал

незаметно за высокими шкафами, рылся в старинных книгах и рукописях, в которых продолжала жить Германия; вечерами они с Вильгельмом записывали сказки старых крестьянок, нянюшек, торговок, булочниц, портных — и в этих сказках Германия тоже была жива.

В 1812 году, когда вышли сказки, собранные братьями Гримм, люди, чьи плечи согнулись от тяжести и стыда военного поражения, радостно услышали бодрый голос народа. Простые слова сказок прозвучали громче грохота пушек…

А через сорок лет и три года появился первый выпуск афанасьевских сказок. Мир услышал в них голос другого народа — русского; народа, который в 1812 году великим мужеством остановил и разгромил прежде непобедимое наполеоновское войско.

Голос этот тоже зазвучал вовремя.

В обществе говорят о судьбе крепостного права.

После военных неудач, после падения Севастополя, как никогда, ясно: по-прежнему жить нельзя. Все внимательнее приглядываются к народу, который привыкли видеть с сохою на пашне, в солдатской шинели. Всякий, кто по-настоящему задумывается о будущем народа, непременно должен знать его мечты и надежды, его представления о справедливости, о счастье. Надо знать, — писал Добролюбов, — «в каком отношении находится народ к рассказываемым им сказкам и преданиям». Афанасьевские сказки помогают услышать народ.

…В Берлине Якоб Гримм беседует с заезжим русским литератором:

— Знакомы ли вы с господином Афанасьевым? Говорят, он молод? Это прекрасно! Он уже так много успел. Мы с Вильгельмом читаем его русские сказки. Очень прошу вас, сударь: приедете в Россию, найдите Афанасьева и передайте ему поклон от стариков Гриммов.

Ручейки и реки. Сокровища старого Даля

Сказок не хватает.

В первых трех выпусках Афанасьев поместил сто двадцать пять сказок и считал, что только начало положил. Во всем собрании Гриммов — двести сказок.

Запасы Географического общества быстро иссякают. Теперь Афанасьеву посылают из общества все новые поступления, но

собирателей куда меньше, чем нужно для афанасьевского дела, и работают они медленно, только в часы досуга.

На родине, в Воронеже, помогает Афанасьеву «Второвский кружок» — учителя, чиновники, литераторы; они встречаются у советника губернского правления Николая Ивановича Второва. Кружок собирает материалы по истории, этнографии и статистике Воронежского края, сельские учителя записывают сказки, песни, пословицы.

Киевский профессор Павлов просит студентов, уезжающих на каникулы по домам, записывать сказки для афанасьевских сборников.

Разбирает свои «закрома», в которых хранится немало памятников народного слова, видный ученый Измаил Иванович Срезневский; отыскивает в бумагах несколько записей сказок и посылает Афанасьеву со словами привета: «Вы пустились в широкое море в добрый час и в доброй ладье».

В Москве, на Остоженке, всякий знал старинный каменный дом с железной наружной дверью и железными решетками на окнах. Здесь жил известный собиратель былин и народных песен Петр Васильевич Киреевский. Большая комната со щелистым, протоптанным полом была и гостиной, и кабинетом. Возле окна стоял запертый висячим замком крепкий сундук с тупыми, скругленными углами, — Киреевский называл его «бабья коробья». В коробье лежало все, что было самого ценного и в доме, и в жизни Петра Васильевича. Случалось, при гостях Петр Васильевич подходил к коробье, доставал из кармана темный резной ключ, отпирал замок и поднимал тяжелую скрипучую крышку:

— Здесь хранятся народные песни, былины и духовные стихи; я собирал их повсюду, где приходилось бывать. Между ними много таких, которые записаны моими друзьями и знакомыми. Вот эту пачку дал мне Пушкин и сказал: «Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые из этих песен поет народ, а которые смастерил я сам». И сколько ни старался я разгадать эту загадку, никак не мог с ней сладить…

В 1856 году Киреевский умер; брат его обнаружил в коробье не одни былины и песни — сказки тоже. Он тотчас отправляет их Афанасьеву: «Вы взялись за прекрасное и необходимое дело…»

Но это — ручейки. Моря-океана, о котором мечтает Афанасьев, им не заполнить.

…В Нижнем Новгороде тянет до пенсии старый чиновник Владимир Иванович Даль. Иногда, гуляя, он выходит на крутой берег Волги. Высокий, худой, с легкими, серебряной седины волосами, он долго стоит на ветру и задумчиво смотрит на реку.

Он думает о быстром течении времени: жить осталось недолго, а главные дела жизни не завершены. Сборник народных пословиц — тридцать тысяч с лишком! — света пока не увидел: не пропускает цензура. Окончить «Толковый словарь» мешает служба. Шевеля губами, Даль привычно считает, сколько осталось служить и какая ему выйдет пенсия. Спохватывается и торопится домой разбирать слова для словаря. Дорогой он тихо ворчит, оттого что время течет быстро, на словарь надобно лет десять (попробуй проживи!), а у него полно и других сокровищ — легенды, лубочные картинки, сказки… Шутка ли! Тысяча сказок, которые он собрал во время военных походов и служебных поездок и которые тоже надо бы пристроить на благо людям…

Афанасьев знает про Далево собрание сказок. Оно видится ему полноводной рекой Волгой. Удивительный старик: один скопил больше слов, чем целая комиссия Академии наук, и больше сказок, чем все Географическое общество!.. Афанасьев сомневается: имеет ли он право попросить у Даля его сказки? Как бы не обидеть человека — он годами собирал их для себя и теперь, после неудачи с пословицами, может сам пустить их в дело. Почему кто-то один должен напечатать все сказки? Почему не «Сказки, изданные Афанасьевым» и рядом «Сказки, собранные Далем»?..

Но выхода у Афанасьева нет. Он пишет к Далю.

Даль бескорыстен — он не думает о славе, о прибыли. Ему и в голову не приходит, что вот-де он копил, собирал, а тут, откуда ни возьмись, прискакал молодой удачник (которого он и в глаза-то никогда не видывал), и на тебе — отворяй сундуки! Даль радуется за сказку, радуется за всех, кому она завтра станет другом.

Ответ Даля замечателен:

«…Предложение Ваше принимаю с большим удовольствием; объясняюсь ближе.

У меня собрано сказок несколько стоп; конечно, тут много мусора, много и повторений. Издать я не соберусь их, потому что у меня слишком много другой работы (словарь). Как успею разобрать их, так и доставлю…

Почестей не нужно мне ровно никаких, кроме того, что прошу Вас упомянуть только в общих словах, что такая-то книга сказок передана Вам; и это для того только, что было о них много речи и что вправе требовать или ждать от меня: развязки, этому делу.

Итак, передаю Вам собрание мое, не связывая Вас ничем. Я не знаю, какова обстановка Ваша, сколько Вы выручите и окупится ли издание, не только будут ли барыши. Только в последнем случае прошу обо мне вспомнить, в том отношении, что собрание

это, каково ни есть, стоило мне нескольких сот рублей; одни сказывали, другие писали, за все это надо было платить. Но, повторяю, если дело будет таково, что доставит выгоду, то Вы, конечно, не попеняете на меня за желание воротить расходы свои; если же того не будет, то и у меня нет никаких притязаний…»

В двух выпусках, целиком составленных из присланных Далем сокровищ, Афанасьев напечатает двести двадцать восемь сказок!

Так подвижники передают один другому горящий факел.

Восемь книг живой воды

Если на карте России закрасить губернии, откуда пришли сказки в сборники Афанасьева, увидим, что краска решительно ляжет вдоль западных границ страны, захватит северные районы, смело переберется через Уральский хребет, густо покроет Поволжье, подползет к горам Кавказа. Больше тридцати губерний отправили своих сказочных послов к Афанасьеву: Вологда и Астрахань, Орел и Пермь, Гродно и Оренбург, Казань и Харьков…

А в ученых примечаниях Афанасьев сравнивает русские сказки со сказками других народов: отыскивает похожих героев и похожие приключения, главное же — видит сходный поэтический взгляд на мир и природу. Разные народы, находясь на одной ступени развития, воплощают мир примерно в одних и тех же поэтических образах, делает вывод Афанасьев. Читатели же узнают из примечаний сказки немецкие, чешские, польские, болгарские, венгерские, сербские, норвежские и сказки народов нашей страны — украинские, белорусские, татарские, чувашские, литовские, бурятские. Русские сказки Афанасьева воспламеняют в читателях интерес к сказкам разных народов.

С 1855 по 1863 год Афанасьев издал восемь выпусков сказок.

Он шел по сказочному царству, в волшебных кладовых набивал сундуки сокровищами, выносил их на белый свет и открывал всем добрым людям на радость.

Сокровища, открытые Афанасьевым, бесценны. Мир до сих пор не знает другого собрания народных сказок, которое по богатству можно сравнить с афанасьевским.

Шестьсот сказок — не сочиненных на манер народных и не переделанные на литературный манер, — шестьсот подлинных народных сказок принес нам в своих сундуках Афанасьев.

Еще не увидели света ни песни, собранные Киреевским, ни

пословицы Даля, ни былины, привезенные Рыбниковым из далекого Олонецкого края, — афанасьевские сказки были первым в России изданием подлинного русского народного слова.

Простая бумажная обложка — будто дверца в чудесный мир. Василиса Премудрая выполняет задачи водяного царя — одна задача другой труднее. Высунулась из проруби чудесная щука — только скажи: «По щучьему велению, а по моему прошению…» Иван-царевич отправился в Кощеево царство выручать свою Марью Моревну. И курочка рябушечка снесла деду и бабе не простое яичко: пестро, востро, костяно, мудрено.

Афанасьевские сказки сразу вошли в жизнь многих людей, словно Живой водой взбрызнули читателей.

Сказки, былины, песни нередко называют «памятниками». Но это — мертвое слово. А сказка и песня — живы. Общество нетерпеливо ожидало и сказок Афанасьева, и пословиц Даля, и песен Киреевского не для того только, чтобы почтительно любоваться их немеркнущей красотой: думая о судьбах народных, надо знать, о чем народ мечтает, услышать, что он рассказывает и поет.

Добролюбов писал про «Народные русские сказки» Афанасьева: «Труд, посвященный раскрытию внутренней, душевной жизни народа и исполненный добросовестно и с любовью».

Правда, Добролюбову хотелось точнее почувствовать отношение народа к сказке, яснее увидеть «живую физиономию народа, сохранившего эти предания». Критик советовал собирателям не просто записывать текст, а постараться передать всю обстановку, при которой удалось им услышать песню или сказку.

Но Афанасьев — не последний тянет из недр земных сказочную «репку». Следом придут другие собиратели — те, кого он вдохновил и увлек своей любовью к сказке. Их труды пополняют собрание Афанасьева, ручьями и реками текут в море-океан, о котором мечтал Афанасьев.

Сказка докучлива: сколько ни слушай, сколько ни рассказывай, а все хочется еще, еще…

Лисичка-сестричка и волк

Разные истории из дневника Афанасьева

Первый выпуск «Народных русских сказок» появился на свет в конце 1855 года.

1855 год начинался надеждами.

В феврале почил в бозе самодержец всероссийский Николай Первый (прошел слух, будто не своей смертью почил — отравился).

«Ну поздравляю, поздравляю, поздравляю, — в радостном порыве пишет Герцен к своему близкому другу. —

Мы пьяны,

Мы сошли с ума,

Мы молоды стали».

В другом письме, посланном в те же дни, он объясняет: «Какие дороги открываются перед нами… Во всяком случае, старое здание теперь должно рухнуть… И новые люди, и продвижение революции, несмотря ни на что».

И еще в одном письме: «Конец этого кошмара заставил меня помолодеть, я преисполнен надежд».

В Петербурге заседала «печальная комиссия», составляла огромный (полтораста пунктов со множеством подпунктов) документ — подробнейшее описание порядка похорон усопшего императора. С газетных страниц лились слезные потоки соболезнований. А люди на улицах, пряча улыбку, шепотом поздравляли друг друга. «Точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось

летать», — вспоминает современник.

По вечерам Афанасьев навещает знакомых, слышит восторженные речи, исполненные великих надежд, слышит зажигательные проекты, способные поразить самое живое воображение. Дни он просиживает в своем архиве, разбирает старинные бумаги: указы, манифесты, грамоты. Испокон веков так: казалось, явится новый Властелин, и с ним вся жизнь повернет на новую дорогу. Но властелины сменяют один другого, а все остается по-прежнему. Господа, не знающие труда, живут в довольстве; мужик, раб и кормилец, сам голодный и босый, тащится в поле за деревянной сохою.

Афанасьев переписал в дневник запрещенное стихотворение Некрасова «Забытая деревня»: крестьяне, разоренные и обездоленные, ждут барина — «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Годы проходят, жизнь в деревне все хуже, а «барина все нету… барин все не едет!»

Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету — и уехал в Питер.

Правительственный чиновник докладывал министру народного просвещения, что некоторые читатели видят в этом стихотворении тайный намек на Россию.

Торжественно плывет по столичным проспектам «печальная колесница», перед которой несут, согласно установленному порядку, сорок четыре ордена и девять корон Николая. Новый государь (надежда!), прикладывая надушенный платок к глазам, следует за гробом. Россия взволнованно напряжена в ожидании благостных перемен.

Архивный чиновник, ученый и литератор Александр Афанасьев пишет из Москвы к приятелю в Казань: «Рассказов ходит довольно, но они все выеденного яйца не стоят! Враки едут на Ераках рі враками погоняют. По-моему, надо подождать, и таки порядочно подождать, чтоб увидеть, что и как будет, не питая ни обольстительных надежд, ни преждевременных разочарований. Я далек от тех слишком наивных увлечений, которые завладели многими из наших знакомых, не умеренных в своих восклицаниях…»

«Подождем дела», — уговаривает знакомых Афанасьев.

В архив прислали с нарочным из Петербурга важный

циркуляр; государю императору благо угодно было утвердить новую форму — мундиры заменили однобортными полукафтанами, вместо шитья на карманных клапанах предписали иметь кант, белый галстук в будни носить запретили, приказали надевать черный; кроме того, ввели двубортные сюртуки на шесть пуговиц с отложным черным бархатным воротником и суконными обшлагами одного цвета с сюртуком; при сюртуке полагалась фуражка с красным суконным околышем. Скоро, вдогонку, пришел новый — специальный циркуляр: государю императору благо угодно было высочайше повелеть красные суконные околыши на фуражках заменить черными бархатными.

Афанасьев, примеряя у зеркала новую форму, шутит невесело: «Ну вот, кажется, дождались и дела».

Но Россия ждет не новых воротников, не бархатных околышей. И шесть лишних пуговиц на сюртуке ничего не меняют.

Приехал из Крыма, с театра войны, Сережа Боткин, уже не мальчик — молодой врач, рассказывает, как под пулями и бомбами стоят насмерть матросы и солдаты и как титулованные командиры, бездарные и самовлюбленные, проигрывают сражения. Рассказывает о недостатке оружия, о плохих дорогах, о воровстве, проевшем, как ржавчина, и гигантские армейские склады, и маленький солдатский котелок.

— Вся Россия щиплет корпию, а перевязывают ею англичан. — Боткин старается говорить спокойно, но выдают дрожащие губы. — Интенданты продают корпию неприятелю. Мы нашим солдатам прикладываем солому к ранам, снимаем повязки с умерших и снова употребляем в дело. Сотни мерзавцев считают казенную и общественную собственность именинным пирогом — каждый норовит урвать кусок побольше.

Приехал из Киева знакомый профессор Павлов, рассказывает, что тамошний генерал-губернатор устраивает балы, на которые приглашают бедных. Сперва неимущих показывают гостям как есть, в рубище и лохмотьях, потом отправляют в другую комнату, где они взамен рванья надевают ношеные фраки и платья, пожертвованные местной знатью; переодетыми их снова приводят в залу и заставляют благодарить господ за добро.

— Обносками господам не отделаться, — говорит Афанасьев. — Мне пишут из Воронежа: крестьяне бунтуют, губернатор водит войска в атаку на безоружные деревни. Я слыхал, будто покойный Николай, умирая, признавался наследнику, что сдает ему команду не в добром порядке. Думаю, без отмены крепостного состояния новому государю доброго

порядка в команде не навести…

Весной 1856 года новый государь, Александр Второй, выступая перед московскими дворянами, намекнул: рано или поздно освобождать крестьян придется — «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».

В августе того же года в Москве состоялась коронация нового государя. Чиновник Московского архива министерства иностранных дел коллежский асессор Афанасьев получил приказ явиться в Кремлевский дворец для несения службы при царской фамилии. В Кремле по случаю коронации шли бесконечные балы и приемы.

Дородный вельможа с густым золотым шитьем на парадном мундире приказал Афанасьеву идти следом и повел его в празднично сиявшую Андреевскую залу. Афанасьева назначили дежурить при императорских регалиях во время представления аристократических дам государю и государыне.

Императорская чета стояла у ступеней трона, по сторонам в ярких одеждах расположились герольды и церемониймейстеры; тут же бесшумно и почтительно скользили приближенные ко двору особы с озабоченными, деловыми лицами.

Архивный чиновник Афанасьев, никому здесь не известный, стоял в отдалении, где было приказано! — нес службу. В течение четырехчасовой церемонии его никто не заметил, для влиятельных лиц он был не лицом — принадлежностью, нужной, но не замечаемой, словно колонна, перила лестницы, ваза, корзина с цветами.

Архивный чиновник с длинным носом четыре часа стоял, где было приказано, и цепким взглядом схватывал все, что происходило в зале.

Он видел красивые, ничего не выражающие глаза императора и усыпанное бриллиантами, сверкающее, серебряного цвета платье императрицы. Он видел льющийся мимо трона поток светских дам — юных и старых, прекрасных и уродливых, косых, беззубых, жирных, тощих, горбатых; и все были одеты с великолепием и роскошью — в бархат, в атлас, в тончайшие кружева, которые нежно шевелились, подобно морской пене; драгоценные камни слепили глаза зелеными и красными лучиками, удивительные цветы (где только растут такие?) наполняли залу тягучим, пряным ароматом.

Тем, кто проплыл в этот день мимо трона, мимо императора с безучастными глазами, мимо сверкавшей императрицы, которая успевала каждой из проходивших дам сказать с улыбкой несколько слов, — тем, кого видал в этот день Афанасьев, принадлежала, должно быть, половина российских крестьян.

Тысячи, десятки тысяч душ. Сколько деревень продала эта гордая черноволосая красавица княгиня, чтобы оплатить многотысячную алмазную брошь, изготовленную лучшими ювелирами?.. Сколько мастериц ослепло в темной избе над коклюшками, чтобы прикрыть кружевами дряблое, желтое тело кособокой старухи графини?.. Сколько народу полегло в землю от непосильного труда, чтобы удовлетворить прихоти известной своей капризной расточительностью толстухи министерши?..

«Они работают, а вы их труд ядите…» В голове у Афанасьева вертится строка из притчи российского пиита Александра Сумарокова.

Придворные у трона вдруг заскользили живее и озабоченнее; церемониймейстеры быстро двинулись к дверям, приостанавливая и поворачивая обратно атласно-бархатный поток, — государыня устала. Царская чета прошла рядом с Афанасьевым; государь безразлично смотрел прямо перед собой. Граф Адлерберг, министр двора, грубо распекал кого-то из должностных лиц. Лакеи скатывали красные ковровые дорожки, протирали перила, уносили корзины с увядшими в духоте цветами.

Афанасьев вышел из дворца. На город опускались сумерки, но после ярко освещенной залы улицы показались Афанасьеву совсем темными. На улицах гулял народ. Зажгли иллюминацию: из плошек с горящим маслом выложены были царские вензеля — «А II». Ветер задувал огонь в плошках. Два дня лил дождь, яства, привезенные для угощения народа, испортились. Толпе раздавали подмокшее печенье, квелые, побитые яблоки.

Пожилая женщина в темной праздничной шали — небогатая чиновница, может быть нянька, — протягивает Афанасьеву мятый, липкий бисквит, подгнившее яблочко.

Историк Сергей Михайлович Соловьев говорил на днях: «Нужно остановить дальнейшее гниение, нужен спасительный поворот».

Дома Афанасьев достает несколько листков почтовой бумаги, острым, скорым почерком рассказывает о коронации, о шествии господ, владеющих тысячами людей… Попробуй-ка уговори их, что пора отменять крепостное право, зубами вцепятся! Или наплетут такую паутину отговорок — увязнешь.

Афанасьев возмущенно записывает в дневник рассуждения господ душевладельцев. Крестьяне-де грубы, невежественны; прежде надобно их воспитать, а после давать свободу. Крестьяне ленивы, привыкли трудиться под надзором, из-под палки; дай им волю — забросят всякую работу, вконец разорят хозяйство. Крестьяне живут с барской помощью и под барским управлением,

барин для них и отец, и учитель, без него они беспомощны, точно котята.

Сделайте труд крестьянина свободным и для него выгодным, пишет Афанасьев, он будет работать, как никогда прежде, сумеет управлять своим хозяйством без помещичьей указки.

Но с освобождением крестьян правительство не торопится.

В левом верхнем углу почтовых листков, на которых Афанасьев пишет свой дневник, вытиснен паровозик: пары в машине разведены, дым из трубы клубами, но колеса неподвижны.

Слово — действие

Весело прокатывается цилиндр по свинцовой печатной форме. Рабочий печатник с измазанными краской руками сноровисто снимает с машины лист за листом. Растет стопа свежих оттисков. Вольная русская типография действует.

Типографию создал Герцен в Лондоне в 1853 году.

В послании «Братьям на Руси» он объяснял, что хочет быть «свободной, бесцензурной речью» передовых русских людей. «Открытая, вольная речь — великое дело», — писал Герцен. «Открытое слово» — это «переход в действие».

Его не сразу поняли, не сразу поддержали. Статей и материалов из России Герцен почти не получал. Осторожничали московские друзья — «наши». А он-то более всего надеялся на их помощь, принимаясь за вольное книгопечатание.

Россия виделась Герцену «одним обширным острогом, к обмерзшим дверям которого был привален Николай».

Герцен знал, как привыкла молчать Россия.

Ранней осенью 1853 года Михаил Семенович Щепкин, которого выпустили в Париж, отправился в Англию — навестить Герцена. Это был первый русский, не побоявшийся явиться к Герцену, дружески протянуть ему руку.

Пароход подошел к берегу. Герцен сразу увидел на палубе грузную фигуру Михаила Семеновича; он был в серой шляпе, с толстой тростью в руке. Томительная минута — и Герцен уже бросился на шею старику. Щепкин был такой, как всегда, — простой, добродушный, домашний; движения непринужденны, открытая улыбка, — точно был он не в чужой стране, ни людей которой, ни обычаев, ни языка не знал, а у себя в Москве, где и в Охотном ряду, и в Замоскворечье, и в переулках Мещанской всем

он знаком, где всякий встречает его приветливым поклоном.

Помрачнел Михаил Семенович на другой день, когда от имени московских друзей и от своего стал просить Герцена закрыть типографию, смириться (Щепкин сказал: «остановиться»), хлопотать о возвращении в Россию.

— Александр Иванович, — говорил Щепкин, волнуясь, — вы знаете, как я Вас люблю и как все наши вас любят… Я вот на старости лет, не говоря ни слова по-английски, приехал посмотреть на вас в Лондон; я стал бы на свои старые колени перед тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время.

— Нет, Михаил Семенович. Я знаю, что вы меня любите и желаете мне добра. Мне больно вас огорчить, но обманывать я вас не могу: пусть говорят наши друзья что хотят, я типографию не закрою; придет время — они иначе взглянут на рычаг, утвержденный мною в английской земле. Я буду печатать, беспрестанно печатать… Если наши друзья не оценят моего дела, мне будет очень больно, но это меня не остановит, — оценят другие, молодое поколение, будущее поколение.

Герцен знал, как привыкла молчать Россия, но он знал, как тягостно молчать, когда есть что сказать, верил — вырвется звук, вылетит птицей живое слово.

— Печатать я буду, это единственное средство сделать что-нибудь для России. Скажите друзьям, чтоб они присылали рукописи, — не может быть, чтоб у них не было тоски по вольному слову…

Россия виделась Герцену страшным острогом, но он знал, как страшно привыкнуть жить в остроге, опустить руки, запечатать уста, смотреть без надежды на обмерзшую дверь. В те же дни он писал к другу: «Если маленькая кучка людей близких нам не захочет, не сумеет устроить постоянных сношений со мной, она завянет и прейдет».

Крутится цилиндр. Растет стопа оттисков, пахнущих свежей краской. Вольная типография действует.

Уже невозможно ни отмахнуться от нее, ни презрительно пройти мимо. Невозможно не заметить. Жаркое слово Герцена прорывается сквозь обмерзшую дверь. Прокламации Герцена, статьи, брошюры тайно читают профессора и газетчики, студенты и министры, жандармские генералы, царь. Когда накануне Крымской войны дочери Николая Первого великие княгини Ольга и Мария приехали в Лондон, русский посол преподнес каждой брошюру Герцена «Крещенная собственность». Брошюра против крепостного права, достается в ней и самодержавному папаше великих княжен, но посол с почтительной улыбочкой, пожимая плечами (ничего, мол, не поделаешь!), подносит ее царевым

дочкам: «неприлично» не читать Герцена.

Растет стопа оттисков. Пахнет свежей типографской краской.

После смерти Николая потянуло над Россией свежим весенним ветром. Далеко за морем почувствовал Герцен, как подтаивает лед, оковавший стены острога. С 1855 года Герцен начал издавать в Лондоне альманах «Полярная звезда».

На обложке, в профиль, портреты пятерых казненных декабристов, под ними топор и плаха, сверху яркая звезда, которая со времен далекой древности считалась путеводной. И название альманаха, в точности повторявшее название журнала Рылеева и Бестужева, и портреты на обложке, и эпиграф из «Вакхической песни» Пушкина на титуле: «Да здравствует разум!» — Герцен этим подчеркивал, что принял факел из рук первых русских революционеров.

Афанасьев, увидав альманах, так и записал в дневнике: «Полярная звезда» — альманах в память Рылеева и Бестужева и их трех несчастных товарищей; на обертке виньетка с их пятью медальонами, которые освещены лучами звезды, восходящей из туч».

Внизу на обложке всякому в России известная страшная дата: 13 (26) июля 1826 года. День казни пятерых.

В июле 1826 года «победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием, — вспоминал Герцен в первой книге «Полярной звезды». — Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились… Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут перед алтарем, осквернённым кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками… Через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу…»

В первой книге «Полярной звезды» напечатаны статьи самого Герцена и запрещенное в России «Письмо Белинского к Гоголю».

Первую книгу «Полярной звезды» привез в Россию Павел Лукич Пикулин, доктор медицины, друг и врач всего московского кружка «наших», добрый человек, великолепный, на всю Москву известный цветовод, радушный хозяин. В августе 1855 года Пикулин тайком съездил в Лондон (считалось, что едет лечиться в Вену) и отвез Герцену стихи Пушкина, Лермонтова и Полежаева, которые в России напечатать было невозможно.

…У Пикулина собираются по субботам. Летом дотемна засиживаются в саду. Весельчак доктор подбегает к гостям с

зеленой леечкой в руке, вставляет словечко и снова исчезает в путаных тропинках между клумбами, сплошь усаженными цветами. Выносят лампу. Налетают со всех сторон, кружатся вокруг нее, бьются о стекло ночные бабочки. Беседы хватает на полночи.

— Сказки двигаются медленно, — рассказывает Афанасьев. — Типографии завалены работой. А в царствование Николая типографы терпели убытки: нечего было печатать. И свободы-то пока на грош, но вот у каждого находится что сказать.

— Герцен прав, — вступает в разговор Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, приятель Афанасьева. — Герцен прав: слово есть действие. Сейчас в России все начинают это понимать. Решение Герцена уехать и печатать для России никогда не казалось столь необходимым.

— Игра, пора самим приниматься за дело, — заманчиво строит планы Николай Михайлович Щепкин. — Открыть книжный магазин, подбирать книги, нужные свободно мыслящим людям…

— А деревня-то как же? — словно из-под земли выскакивает со своей зеленой леечкой Пикулин? — Крестьяне?.. Или теперь уже книгами торговать?..

— Молчи, сынишка! — грохочет Кетчер (старший годами, он именует доктора «сынишкой»). — Вздор! Не торговать! Издавать надо! Белинского издадим!

— Царствование сменилось, а «Нахлебника» Михаилу Семеновичу играть по-прежнему не разрешают, — слышится голос Пикулина уже из-за куста сирени.

Лиловые гроздья сирени сладостно душисты.

Афанасьев смеется: архивы сейчас издают документы, — представьте, кому-то не нравятся надписи на старинных русских орудиях; вместо «Пушка именем Свинья, вылита при царе Петре» приказано исправить — «Пушка Лев, отлитая при императоре Петре Великом»…

Во время коронации текли на обедах шампанское и сладкие речи, — сердито говорит Якушкин. — Теперь-де не слышно слов «запретить», «отменить», «наказать», а все — «разрешить», «поощрить», «простить». Однако…

— И все же надо писать, печататься, продираться к читателю, — говорит Афанасьев. — Люди ждут сокровенного слова.

— Для этого нужна сила орла. — Александра Владимировна Щепкина, жена Николая Михайловича, звякает серебряной ложечкой, помешивая чай в тонкой фарфоровой чашке. — А вы у нас, Александр Николаевич, голубь кроткий.

— В писании сказано: будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби, — шутит Афанасьев. — А попросту говоря, лисичка-сестричка не сильна, да хитра: заставила волка хвостом рыбку удить и к тому ж на бесхвостом волке верхом домой приехала…

Выскочил откуда-то из темноты радостный Пикулин, с низким поклоном протянул Щепкиной тяжелую ветку сирени:

— Александра Владимировна, душенька, взгляните, цвет-то какой — персидская ночь! А какой аромат!..

Дома Афанасьев записал в дневнике: «Эти умные разговоры, довольно уже избитые, вчастую бывают хуже горькой редьки… Тешим сами себя, переливая из пустого в порожнее».

…В июне 1857 года Герцен пошутил в письме к Николаю Михайловичу Щепкину: «Я испугаю вас на днях «Колоколом». Словцо «испугаю», наверно, не такая уж невинная и случайная шутка. «О направлении говорить нечего, — писал Герцен в предисловии к «Колоколу» — Оно то же, которое в «Полярной звезде», то же, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь». Герцен упрямо шел своим путем. Московским «нашим» за ним не угнаться.

Первый номер (Герцен назвал: «первый лист») «Колокола» вышел 1 июля 1857 года. «Vivos voco!» стояло под заголовком: «Зову живых!» Этими словами открывается «Песнь о колоколе» Шиллера. Герцен звал живых «на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России»; он хотел «страстно, со всей горячностью любви, со всей силой последнего верования» видеть «могучее развитие ее».

Звон герценовского «Колокола» прозвучит над Россией. В самых отдаленных ее уголках будут жадно читать, будут бережно передавать друг другу строжайше запрещенные листы. И со всех концов страны будут писать в «Колокол» тайные корреспонденты. Гневного слова, едкой насмешки «Колокола» боялись губернаторы, жандармы, министры, царь. Страстных статей «Колокола» ждали все, кому дорога была «Россия развивающаяся».

Предисловие к первому листу «Колокола» открывалось стихами Огарева:

Привета с родины далекой
Дождался голос одинокой,
Теперь юней, сильнее он…
Звучит, раскачиваясь, звон,
И он гудеть не перестанет,
Пока — спугнув ночные сны —
Из колыбельной тишины

Россия бодро не воспрянет
И крепко на ноги не станет,
И — непорывисто смела —
Начнет торжественно и стройно,
С сознаньем доблести спокойной,
Звонить во все колокола.

Отставной поручик и государыня-императрица

Человек с портрета смотрит дружелюбно и внимательно, словно приглядывается и словно приглашает поразмышлять вместе.

Афанасьев любит оставаться наедине с портретом: видит большой, открытый лоб, которому больше подходит название «чело», проникновенные глаза, слегка приоткрытые губы — вот-вот вырвется очень нужное слово, — он отвечает на приглашение человека и размышляет о своем.

Портрет привез из Сибири Евгений Иванович Якушкин. В 1853 году Евгению удалось побывать там и впервые встретиться со своим отцом, Иваном Дмитриевичем. Среди декабристов Иван Дмитриевич Якушкин был в числе виднейших; Пушкин писал о нем:

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал…

На процессе его приговорили к смертной казни, потом заменили смерть долгой каторгой. В Сибири познакомился Евгений и с друзьями отца — с Пущиным, Матвеем Муравьевым-Апостолом, Оболенским. Один из декабристов подарил Евгению Якушкину портрет. На портрете изображен Николай Иванович Новиков.

…Был Петербург восемнадцатого столетия, Петербург Екатерины Второй, которую подобострастно называли «Великой» и запросто (ей это нравилось) — «матушкой». Были блестящие вечера в Эрмитаже и шаловливые праздники за городом. Во дворце собственной рукой государыни написано было объявление: «Церемонии газайка здешняя ненавидует и за досада

принимает». (Российская самодержица Екатерина Алексеевна, в прошлом София-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, в русском языке была слаба.) Веселились, ставили спектакли, танцевали, кокетничали; от непрестанной возбужденности у дам и кавалеров слишком блестели глаза. Пудрили парики, прически щеголей и щеголих на аршин возвышались над головою. Модницы рисовали на лице соблазнительные родинки — мушки. Существовал язык мушек — он заменял записочки: по тому, где и как нарисована мушка, кавалер угадывал симпатию, отказ, узнавал о свидании. Играли в карты (матушка императрица предпочитала игру «макао»), расплачивались драгоценными камнями. Кровавые рубины, ярко-зеленые изумруды, тонко граненные бриллианты, сверкающие всеми цветами радуги, были насыпаны в хрустальные бокалы; их доставали оттуда ложечкой. Между беспроигрышным «макао» и увлекательным беспроигрышным кокетством государыня дарила любимцам земли — тысячи десятин, деревни — тысячи изб, крестьян — тысячи душ. Землю и души продавали, обменивали на блестящие камешки, парики, золоченые кареты, на слуг-арапчат и длиннохвостых, ярких попугаев. В деревнях крестьяне работали от темна дотемна, прихватывали ночь, если месяц на небе был полный, копили господам оброк. В деревнях тысячами помирали с голоду, от непосильного труда и барских побоев. Императрица переписывалась с французскими философами, льстиво именовала себя их ученицею, хвастливо перечисляла, что сделала для благоденствия народного, и уверяла, что народ благоденствует. В Тайной экспедиции, которой управлял всем известный и на всех наводящий ужас Степан Иванович Шешковский, допрашивали и пытали тех, кто не желал «благоденствовать», не желал делать вид, что «благоденствует», тех, кто, подобно Радищеву, «взглянув окрест», чувствовал, что душа «страданиями человечества уязвленая стала». Там, в Тайной экспедиции, учиняли допрос, вздергивали на дыбу, водили по спине горящим веником, стягивали руки и ноги железными тисками.

Николай Иванович Новиков не пожелал благоденствовать в «золотой век» матушки императрицы Екатерины Великой.

Кто он был, Новиков, в этом сверкающем екатерининском Петербурге, рядом с всесильными временщиками, подобострастными вельможами, веселыми и коварными придворными шалунами? Никто. Или, точнее говоря, отставной поручик. Офицер в отставке, не повидавший сражений, не понюхавший пороху. Но в восемнадцатом столетии понял бывший поручик, что слово — действие: его слова были острее шпаги,

разили точнее штыка, взрывались убийственной картечью. Не обстрелянный в боях отставной офицер Новиков решился вступить в открытый поединок с самой государыней, с Екатериной Второй, «Великой».

Желая показать себя всему миру просвещенной монархиней, Екатерина разрешила в 1769 году издавать в России сатирические журналы и сама первая тут же выпустила свой журнал под названием «Всякая всячина».

Императорская «Всякая всячина» объявляла себя «бабушкой» русских журналов и выражала надежду, что появятся и «внуки». Заодно «бабушка» строго наказывала «внукам», о чем должно писать и над чем можно смеяться.

«Никогда, нигде какое бы то ни было правление не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархиня имеет о нас», — поучала «Всякая всячина». Что же до сатиры, то никто не воспрещает снисходительно осмеивать слабости, «весьма обыкновенные человечеству». Замахиваться же на большее — ни-ни! В голосе «игривой бабушки» слышались жестокие ноты: «Впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит» и «никому не думать, что он один весь свет может исправить».

Новиков не внял государыниному предостережению. И в семье журнальных «внуков», разных лицом и характером, появился один, особенно дерзкий, решительный, непокорный. Имя ему — «Трутень». Эпиграф на титульном листе был многозначителен: «Они работают, а вы их труд ядите». Статьи «Трутня» — правдивый рассказ о тех, кто работает, и беспощадное обличение тех, кто ест чужой труд.

Люди удивленно и растерянно перелистывали новиковский журнал: прежде такого читать не приходилось.

Новиков печатает «копии с отписок» — писем крестьян к помещику: «Государю Григорию Сидоровичу! Бьет челом и плачется сирота твой Филатка. По указу твоему господскому, я, сирота твой, на сходе высечен, и клети мои проданы за бесценок, также и корова, а деньги взяты в оброк, и с меня староста грабит остальных, только мне взять негде, остался с четверыми ребятишками мал мала меньше, и мне, государь, ни их, ни себя кормить нечем…»

Такое и произнести-то вслух боязно, а тут, гляди, напечатано литерами на типографском станке. Иной читатель потрет пальцами бумагу, посмотрит лист на свет — не верится даже, что на самом деле.

А вот из объявлений, помещенных в «Трутне»:

«Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему

место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающие купить, могут его сыскать в здешнем городе».

Или: «Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньею, желающие смотреть, могут его видеть безденежно по многим улицам сего города».

«Бабушка» поначалу пыталась наставлять строптивого «внука». Новиков делал вид, будто не знает, кто скрывается за обложкой «Всякой всячины», и в ответ дерзил отчаянно: «Госпожа Всякая всячина на нас прогневалась и наши нравоучительские рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуметь не может…» И дальше — уже совсем в открытую: «Видно, что госпожа Всякая всячина так похвалами избалована, что теперь и то почитается за преступление, есть ли кто ее не похвалит». Ответ «Трутня» «сей госпоже» заканчивается словами: «Я тем весьма доволен, что госпожа Всякая всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас нрав».

«Бабушка» спорила со своевольным «внуком», но были еще и читатели — та самая публика, на которую надеялся Новиков. Она и решила, кто прав: тираж «Всякой всячины» сократился втрое, Новиков через три месяца выпустил свой журнал вторым изданием. Но в арсенале поручика Новикова были только слова; у коронованной журналистки имелось оружие и посильнее. «Трутень» был запрещен.

Новиков с трудом добился его возобновления. Новый эпиграф — тоже из Сумарокова — рассказывал всем о тяжелом и неравном поединке:

> Опасно наставленье строго,
> Где зверства и безумства много.

Но и возобновленный «Трутень» прожил недолго. Скоро появились на его страницах горестные слова прощания: «Против желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь…»

Жить без журнала Новиков не мог. После «Трутня» он издавал другие журналы, среди них знаменитый «Живописец».

Александр Николаевич Афанасьев пишет книгу о сатирических журналах восемнадцатого столетия.

Хорошо бы переиздать журналы. Но мечта несбыточна. «…Это книги, которые дай бог, чтобы теперь являлись, — записывает

Афанасьев, — да лучше всего их рекомендует то, что «Трутня» цензура не пропустила, следовательно о «Живописце» и думать нечего».

Афанасьев читает новиковский «Живописец»:

«*Бедность и рабство* повсюду встречалися со мною в образе крестьян. Непаханые поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие *адоньи* хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны.

Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И, слушая их ответы, к великому огорчению, всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными себе человеками»…

Строки, прорвавшиеся к читателям в «благоденственный век» Екатерины, не протащить сквозь умудренную цензуру в александровскую пору ожиданий и надежд. Екатерина поигрывала в просвещение, а может, просто до поры не разглядела, не почувствовала всей силы печатного слова. Потом журнальные «игры» и «милости» кончились: «свободоязычие» было объявлено опасным преступлением.

«Историк всегда Эзоп, — думает Афанасьев. — В изучении прошлого он растит мысли о настоящем, видит в прошлом прообраз настоящего. Читая столетней давности письмо, он волнуется не потому только, что вот-де как было тогда, но тут же сравнивает: «А теперь?..» В журналах обсуждают крестьянский вопрос. Печатает хорошие, решительные статьи некрасовский «Современник». Право, пригодились бы сейчас и новиковские «Трутень» с «Живописцем», и комедии Фонвизина весьма кстати, и, конечно же, как нельзя более, Радищев — «Путешествие из Петербурга в Москву». Но об этом и думать нечего. Книга, запрещенная три четверти века назад просвещенной «матушкой», так ни разу и не переиздана в России. (Ее, правда, переиздал Герцен в лондонской Вольной типографии, но пройдет еще полвека, пока сочинение Радищева увидит свет у себя на родине.)

Афанасьев читает «Живописца». Новиков рассказывает, как грозят издателю взбешенные крепостники:

«О, коли бы он здесь был! То-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке. Што и говорить, дали волю… Кабы я был большим боярином, так управил бы его в Сибирь».

Новиков знал, в какое время он живет; ему нетрудно было

провидеть свою судьбу. Шешковский в простеньком своем сером сюртуке с медными пуговицами не часто появлялся на ослепительных вечерах в Эрмитаже: дела было много. Красноватый мерцающий свет в камере Тайной экспедиции не пробивался в страшную, бесконечную черноту углов. В 1792 году Екатерина лишь ей доступным ударом закончила поединок, тянувшийся без малого четверть века: приказала арестовать Новикова и отдать Шешковскому. После допроса его заточили без суда в Шлиссельбургскую крепость. В завещании наследнику императрица наказывала: «Сошли в Сибирь первого писателя, вздумавшего казаться государственным человеком». А Белинский писал о Новикове: «Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстию — разливать свет образования в своем отечестве».

Новиков издавал не только журналы. Он издавал и книги по разным отраслям знания, сочинения лучших писателей и мыслителей того времени. За десять лет, с 1781 по 1790 год, почти треть всех вышедших в России книг издана Новиковым.

Современник писал, что Новиков «двигал вслед за собой общество и приучал мыслить».

Афанасьев пишет книгу о Новикове и его журналах.

Новиков в прошлом, сегодня — Герцен с «Колоколом» и «Полярной звездой», «Современник» Некрасова и Чернышевского в Петербурге.

Россия тоскует по слову-действию, ждет его.

Афанасьев подумывает о журнале — своем, маленьком, но чтобы и в нем говорить нечто нужное людям.

Он любит оставаться наедине с портретом Новикова. Вглядывается в лицо на портрете. Однажды записывает серьезно и шутливо одновременно: «Это портрет человека, которого нельзя не чтить. Что за лицо! Открытое, проникнутое мыслью, с большим лбом и таки порядочным носом (что мне особенно приятно!)…»

«Библиографические записки»

Название у афанасьевского журнала не завлекательное, ученое — «Библиографические записки».

Большие листы, текст в две колонки убористым шрифтом.

Строгие, деловые заголовки статей.

Испрашивая у властей разрешение издавать журнал, Афанасьев бесстрастно сообщает: «Библиографические записки»

собираются знакомить читателей «с живым содержанием редких, малодоступных и тем не менее любопытных изданий»; рассказывать о судьбе различных литературных произведений и об их авторах.

Но это разговор лисички-сестрички с серым волком.

Все дело в том, какие издания Афанасьев и его друзья сочтут «любопытными», о каких произведениях и о каких авторах поведут в журнале речь.

Неопубликованные прежде стихотворения и письма Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Полежаева, декабристов. Очерки и заметки о Новикове, Фонвизине, Радищеве. Статьи и воспоминания деятелей прошлого, недовольных политикой правительства…

Но все это очень хитро, с десятками уловок, запутывая следы.

Афанасьев шутливо признается:

— В наш век басни снова получают силу и значение; следует только дать им современное направление, о чем я пуще всего и хлопочу.

В «Библиографических записках» нужно читать не только самый текст, но и примечания, сноски под страницами, указатели, объявления. Нужно расшифровывать невинные, казалось бы, фразы, ничего, на первый взгляд, не значащие слова.

Заголовок: «Из непечатной литературы 20-х годов».

Затем следуют два стихотворения.

Подпись: «К.Р. 1826. А.Р.»

Но русские читатели уже приучены разгадывать подобную тайнопись.

«Из непечатной литературы 20-х годов» — значит из декабристской. «К.Р.» — Кондратий Рылеев. «1826» — время, когда Рылеев, заточенный в крепость, ожидал казни. «А.Р.» — Алексеевский равелин.

Так люди узнают стихи, которые вождь декабристов сумел переслать в камеру своему другу Оболенскому: «Мне тошно здесь…» и «О, милый друг, как внятен голос твой…»

Небольшая сухая заметка, интересная как будто немногим исследователям старины: «Русские студенты в Лейпцигском университете (1766–1771)». Но кто прочтет заметку внимательно, обнаружит в прилагаемом списке имя одного замечательного студента — Радищев.

Невиннейшая статейка — «О рукописном сборнике стихотворений XVIII столетия». Но где-то в примечаниях редакции, среди ученых рассуждений, притаилось: «Все меры и преобразования Петра, которые имели такое огромное значение для государственной жизни России, мало касались народа: они не

изменили его положения ни по отношению к духовенству, ни по отношению к помещичьей власти, ни по отношению к его материальному благосостоянию».

Неизданные прежде сочинения М. М. Щербатова. Князь Михаил Михайлович Щербатов — знатный вельможа, закоренелый крепостник. Он считал, что даже сама императрица Екатерина Вторая мало печется об интересах родовитого российского дворянства. Щербатов «поминал с умилением» допетровскую русскую жизнь, ее строгие, неподвижные устои и обычаи: ему омерзителен мишурный и развратный двор Екатерины. В своих сочинениях (оттого и не издавали) он зло «охуляет» императрицу и правление ее. К тому же в хуле Щербатова читатель и через сотню лет находит привлекательные строки: «Ничего легче как молчать или вздор говорить, или половину речи своей сделать из слов: да, да, очень хорошо, изрядно, и подобное»; но в ком живут «нетерпение и чувствительность, происходящие от любви к отечеству», тот не хочет «лгать из лести и подло раболепствовать».

Журнал «Библиографические записки» издают люди, которые от любви к отечеству не хотят лгать и раболепствовать.

Редактором числится Николай Михайлович Щепкин, но душа журнала — Афанасьев. Редактором ему нельзя — он теперь видный чиновник, надворный советник, второе лицо в Московском архиве министерства иностранных дел.

Деятельный участник издания — Евгений Иванович Якушкин. Он близок со многими друзьями отца, с теми, кто остался в живых после тридцати лет каторги и ссылки. Якушкин добывает материалы о декабристах и от декабристов, тормошит вернувшихся из Сибири стариков, буквально заставляет их писать воспоминания о своем времени, своем деле, своих товарищах. «Как быть, недавно принялся за старину, — сообщал Пущин в письме к Евгению Ивановичу. — От вас, любезный друг, молчком не отделаешься…» Пущин принялся за свои знаменитые «Записки о Пушкине».

Старается на пользу новому журналу Виктор Иванович Касаткин, близкий товарищ Афанасьева и Якушкина. Касаткин живал подолгу за границей, встречался с Герценом и Огаревым. Через несколько лет его привлекут к суду за сношения с «лондонскими пропагандистами». Он успеет до этого ускользнуть из России и будет заочно приговорен к вечному изгнанию.

Есть сведения, что именно Касаткин передал Герцену рукопись собранных Афанасьевым «Русских заветных сказок». «Заветный» — значит запретный, тайный, свято хранимый. Содержание сказок часто слишком вольное, нескромное, не и

такие рассказывал не умудренный в светских приличиях мужик-бахарь — рассказывал, смеясь над барами да попами, над их жадностью, несмышленостью, низменными желаниями, прославляя силу, хитрость и удаль простого батрака. Это те самые сказки, о которых в «Письме к Гоголю» писал Белинский: «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, брюхаты жеребцы? Попов… Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?» Белинскому вторит в предисловии к «Заветным сказкам» составитель Афанасьев, укрывшийся под странным псевдонимом-перевертышем — «Филобибл»: сказки «ярко освещают… отношение нашего мужичка к своим духовным пастырям и верное понимание их». И страстным призывом звучит пожелание «Филобибла»: пусть «из рук трудящейся братии», «с заветных станков» расходится по свету «всякое свободное слово, всякая заветная речь, к какой бы стороне русской жизни ни относились они». Но еще не приспело время для «всякого свободного слова», и на обложке «Заветных сказок» вместо даты напечатано: «Год мракобесия».

В журнале Афанасьева сотрудничают люди, которые стараются сделать явной «заветную речь», пустить по свету «свободное слева», — известные историки литературы Петр Александрович Ефремов и Виктор Павлович Гаевский, поэт и переводчик Николай Васильевич Гербель.

Авторов, которые посылали в журнал статьи и заметки, много — историки, литераторы, педагоги, перечислять их нужды нет, не к тем, кто составлял кружок «Библиографических записок», стоит приглядеться.

Товарищи, друзья, в основных вопросах единомышленники. Все крепко связаны: встречаются, переписываются, передают и пересылают друг другу материалы. Больше того: все — отчаянные собиратели. «Отчаянный» — значит увлеченный, но также значит и смелый, идущий на риск. Афанасьев и его друзья собирают потаенную литературу — ту, о которой приказано было забыть и не вспоминать.

Один русский ученый уже после смерти Афанасьева говорил о нем: «Он был один из первых собирателей рукописной литературы восемнадцатого и девятнадцатого столетий». Сказано хитро: книгопечатание в девятнадцатом столетии, как известно, существовало; «рукописная литература» девятнадцатого столетия — это литература, которую печатать было нельзя.

Дневник Афанасьева заполнен запрещенными стихами и

эпиграммами, речами на заседаниях, торжествах, панихидах, ходившими в народе анекдотами и шутками.

Добывать потаенную литературу нелегко, — за тридцать лет николаевского самовластья все успели понапугаться; да и в новое царствование помалкивать спокойнее. Говорят, язык до Киева доведет; бумажка с крамольными стишками или письмецом, которому не положено видеть света, глядишь, заведет и подальше Киева, и в ином — восточном — направлении. Заполучить такую бумажку или письмецо можно, когда люди тебя знают, верят тебе.

Человек переправляет Афанасьеву кое-что о Радищеве и просит не выдавать, кем это «кое-что» доставлено. Если удастся обнародовать заметку в журнале, можно сообщить, что материал прислан «откуда-нибудь изнутри России»; еще лучше ссылаться на покойников — найдено-де в бумагах давно почившего НН или ДД.

Печатать все эти «кое-что» в журнале очень трудно. Каждый номер «Библиографических записок» едва продирается сквозь «узкие райские врата православной цензуры», — Афанасьев, шутя, часто так говорил.

Царские цензоры не так глупы и доверчивы, как Серый из народной сказки. Они беспощадно корнают статьи, вымарывают строки, читают нравоучения издателям. Афанасьеву потрудней, чем сказочной лисичке, заставить волка сунуть хвост в прорубь да еще дождаться, пока примерзнет.

Афанасьев ездит объясняться с чиновниками, подает прошения и жалобы, переписывает статьи языком басен.

Главное — чтобы собранное им и его друзьями попало к людям.

От друзей Афанасьев не скрывает, что строго ученая внешность журнала — тоже маска. Хоть и «Библиографические записки», но задуманы они ради публики «не библиографической, а просто читающей».

Не справка о редкой книге, вышедшей где-нибудь в Турине, не вести из Британского музея, — неизвестные прежде строки Пушкина и декабристов, очерки жизни Новикова и Радищева — вот что главное в «Библиографических записках» для публики «просто читающей». Сами эти имена заставляют людей задуматься о своем сегодня, звучат как призыв к действию.

Оттого каждый номер журнала стоит Афанасьеву немалых трудов и хлопот.

Оттого стараются власти на каждом шагу подставить ножку молодому журналу — запретить, не допустить…

«Библиографические записки» собираются напечатать ответы Радищева на вопросы следствия; приказано — запретить.

«Библиографические записки» изображают Шешковского, управляющего Тайной экспедицией при Екатерине, жестоким инквизитором и палачом; приказано — запретить.

«Библиографические записки» с похвалою отзываются о бывших издателях «Полярной звезды» Бестужеве и Рылееве и об их друзьях — Кюхельбекере, Никите Муравьеве и других; приказано — запретить похвалу.

И все же материалы, окончательно и бесповоротно запрещенные в самодержавной России, попадают в типографию, отливаются в тускло поблескивающую свинцовую форму, покрываются пахучей краской…

Весело прокатывается цилиндр печатной машины. Растет стопа свежих оттисков. Кроме печатания книг в России, есть еще Большое русское книгопечатание в Лондоне. Есть Вольная типография Герцена.

Удивительные совпадения обнаруживаются в герценовской «Полярной звезде» и афанасьевских «Библиографических записках».

Много общих тем: история и литература восемнадцатого века, декабристы, Пушкин.

Много материалов, явно связанных между собой. Стихи, проза, письма, помещенные «Библиографическими записками» лишь в отрывках, в «Полярной звезде» печатаются полностью.

Воспоминания декабристов, тщательно собираемые Евгением Якушкиным — журнал Афанасьева может только глухо упомянуть об их существовании, — также появляются на страницах «Полярной звезды».

Статьи, заметки, объявления, которые в «Библиографических записках» требуют читательской расшифровки, в «Полярной звезде» звучат открыто и страстно.

Не простые совпадения!

Ученые прочитали теперь в архивах скрытые до поры до времени документы, переписку, личные бумаги Афанасьева и его друзей. Удалось установить, что издатели «Библиографических записок» были хорошо осведомлены о произведениях, которые издавал за границей Герцен. Больше того: удалось установить, что многие из этих произведений (в России они считались крамольными) переправили Герцену именно издатели «Библиографических записок». В Лондоне у Герцена скрытно побывали Афанасьев и Николай Щепкин, Касаткин, Гаевский, Гербель, а также некоторые их знакомые, которым они могли доверять.

Выходит, что Афанасьев и его друзья были тайными корреспондентами, тайными сотрудниками революционных

изданий Герцена, а журнал «Библиографические записки» — пусть скромным — русским помощником всемирно известной «Полярной звезды».

…Знакомые вспоминают, что Афанасьев в своем кругу был очень прям и откровенен. Но, похоже, не со всеми и главное — не во всем.

Афанасьев и его друзья собирали запрещенную литературу, отсылали ее Герцену. За это людей судили, содержали в крепости, отправляли в ссылку.

А вот Александра Владимировна Щепкина, добрая приятельница Афанасьева (они редкий день не встречались), рассказывает, что был он человек кабинетный, архивист, закоренелый любитель древностей: «Афанасьев легко интересовался всякими движениями общества, но никогда не думал принять в них участие — его призвание было: работать пером».

«Я полюбил Пушкина еще больше…»

Пушкин путешествует по Кавказу, на ясной заре любуется цепью гор, — издали они кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными. Он проезжает Крым, который тогда называли Тавридою; возле фонтана Бахчисарайского дворца слышит он странную, взбудоражившую его легенду. Пушкин повесничает в Кишиневе, играет в карты и на бильярде, ухаживает за женщинами, становится к барьеру на дуэлях; здесь, в Молдавии, встречается и беседует он с заговорщиками — завтрашними декабристами. Пушкин гуляет по улицам Одессы пыльной, воюет с графом Воронцовым, пронзает графа меткими эпиграммами. В Михайловской глуши Пушкин ссорится с родителями, бродит одиноко по заросшему парку, ждет, тоскуя, — авось залетит мимоездом кто-нибудь из друзей, слушает по вечерам нянины сказки; ему подают коня, он едет верхом вдоль берега озера, поднимается по дороге, изрытой дождями, близ трех сосен пересекает границу владений дедовских и спешит к милым соседкам в Тригорское.

На Кавказе и в Кишиневе, в Одессе и в Михайловском Пушкин пишет стихи и поэмы, которыми зачитывается вся Россия.

С Кавказа и из Молдавии, из Одессы и из Михайловского — отовсюду Пушкин пишет письма, которые читают близкие друзья

и немногие знакомые — те, для кого они предназначены.

На полях черновиков, на случайных листках бумаги Пушкин рисует автопортреты, точно и стремительно схваченные.

Письма Пушкина сродни автопортретам. Быстрым к точным пушкинским пером набросаны события крупные и вроде бы незначительные, запечатлены раздумья — глубокие и шутливые, оценки собственных творений и сочинений других литераторов, изображены история и характер отношений с разными людьми.

…Трудно составить первый номер нового журнала более удачно, чем это сделали сотрудники «Библиографических записок».

Первый номер «Библиографических записок» вышел в январе 1858 года. Он открывается неизвестными прежде читателям письмами Пушкина к брату Льву Сергеевичу. Письма передал в журнал приятель поэта Сергей Соболевский.

Всего в «Библиографических записках» напечатано тридцать четыре письма Пушкина к брату. Двадцать девять относятся к 1820–1825 годам, — это своеобразная картина жизни поэта на юге и в Михайловском, написанная самим Пушкиным.

Между прочим, письмо Пушкина, где он восторженно отзывается о народных русских сказках («Каждая есть поэма!»), тоже впервые напечатано полностью в афанасьевском журнале.

Афанасьев радуется: письма преинтересные, «этим останутся все довольны».

Письма, что и говорить, преинтереснейшие, но все-таки Афанасьев ошибся — довольны остались не все.

Еще не просохла типографская краска на страницах первого номера журнала, сын поэта, Григорий Александрович Пушкин, посылает жалобу министру народного просвещения Норову. Министр, вняв жалобе, объявляет замечание издателю журнала и цензору за обнародование писем, «в коих многое не должно было являться в печать как оскорбляющее чувство приличия и самое уважение к памяти великого поэта… и за оказавшиеся там же неуместные шутки и отзывы об отце и родственниках Пушкина, личности, неблагопристойности и другие неуместности». Министр, видите ли, защищал Пушкина от… самого Пушкина.

Ошибся Афанасьев: не все остались довольны.

Еще жив Фаддей Булгарин, который травил Пушкина, лгал на него, клеветал, писал доносы и наушничал — торопил, как мог, гибель поэта. Еще жив известный «соратник» Булгарина — Николай Иванович Греч. Еще жива их газетенка «Северная пчела» — ее страницы дышали на Пушкина ядом и злобой. В обнародованных «Библиографическими записками» письмах Пушкина — эпиграммы на Булгарина, отзывы о нем.

Рассердились и некоторые из бывших друзей Пушкина — Вяземский, например. В пятидесятых годах Петр Андреевич Вяземский — товарищ (то есть заместитель) министра народного просвещения и член Главного управления цензуры. После смерти поэта Вяземский немало постарался, чтобы создать образ смирного, благонамеренного Пушкина, чтобы пригладить его кудлатые волосы, укротить непокорный, мятежный дух. Вяземский предупреждает издателей «Библиографических записок», запугивает: перестаньте печатать «необдуманные» письма Пушкина, не то худо будет!

Но Пушкин уже не принадлежит ни семейству своему с его расчетами и «соображениями», ни бывшим друзьям, ни министерству народного просвещения, ни, тем более, старым врагам, — четверть века не приглушили в них яростной, бессильной злобы.

Пушкин теперь достояние нового поколения — поколения Афанасьева, Якушкина и их товарищей по журналу.

Это поколение читает «Колокол» и «Полярную звезду понимает, что жить по-старому дальше невозможно, и ждет перемен. Есть в этом поколении люди, которые не только ждут, но стараются приблизить перемены. Это поколение ищет и находит в Пушкине союзника. «Неприглаженность» поэта, его мятежное непокорство для «бывших друзей», как и для министерских чиновников, — «личности», «неблагопристойности» и «другие неуместности», а для Афанасьева, Якушкина и людей их круга — живой, настоящий Пушкин.

«Письма не только не бросают никакой на него тени, но, по-моему, раскрывают вполне его благородный и симпатичный характер: я полюбил Пушкина еще больше, узнавши его письма к брату».

Это слова Афанасьева.

«Библиографические записки» вступают в борьбу за живого, настоящего Пушкина.

Они борются смело и достойно. Они не унижаются до журнальной перебранки, до обмена колкостями, до ответа на пошлые обвинения.

— Пора восстановить тот благородный журнальный тон, основанный на уважении к науке и искусству, на любви к просвещению и народности, о котором заботился Пушкин, — говорил Афанасьев, задумывая «Библиографические записки».

Журнал Афанасьева отстаивает подлинный образ Пушкина благородно, с любовью к народу и просвещению.

В ответ на письменные жалобы и устные нападки, на министерские замечания и цензурные препятствия

«Библиографические записки» взялись за восстановление подлинной биографии Пушкина, искаженной, урезанной «бывшими друзьями» и врагами поэта, взялись за восстановление подлинных его творений, искаженных, урезанных издателями и цензурой.

Задача нелегкая. Попробуй-ка скажи прямо, что такое-то стихотворение Пушкина печатается без четырех, восьми, двенадцати признанных крамольными строк. Или что такое-то стихотворение Пушкина вовсе не разрешено печатать. Или что под буквой П. в заметке Пушкина имеется в виду ну хотя бы Пестель, повешенный царем на кронверке Петропавловской крепости.

Но можно сказать не прямо и все же — ясно.

…В шестидесяти четырех номерах «Библиографических записок» помещен пятьдесят один материал, так или иначе связанный с творчеством Пушкина.

Впервые напечатано шестьдесят шесть стихотворений — либо целиком, либо частично, либо с неизвестными прежде строками и словами.

Читатель разворачивает журнал с незавлекательным названием «Библиографические записки», и едва не в каждом иомене всегда радостная встреча: Пушкин.

«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», «Есть роза дивная: она…», стихи, написанные Екатерине Ушаковой, — «Когда бывало в старину» и «В отдалении от вас», отрывки из запретных «Царя Никиты и сорока его дочерей», «Ты и я», впервые после гибели поэта вновь перепечатанное «подражание латинскому» — «На выздоровление Лукулла» (сатира, в которой навек заклеймен министр народного просвещения Уваров)…

Тут, впрочем, важная оговорка: впервые в России перепечатанное: за два года до «воскрешения» в «Библиографических записках» стихотворение «На выздоровление Лукулла» было помещено Герценом в «Полярной звезде».

Интересно: почти треть стихотворений Пушкина, напечатанных, дополненных и поправленных в журнале Афанасьева и его друзей, встречаем в заграничных изданиях Герцена и Огарева. Очень интересно!..

«Библиографические записки» открыли читателям пушкинские «Заметки по русской истории XVIII века», страницы «Путешествия из Москвы в Петербург», отрывки из «Путешествия в Арзрум» и «Истории Пугачевского бунта». Кроме писем к брату, в журнале увидели свет письма Пушкина к Гоголю, Жуковскому, лицейскому приятелю Яковлеву, трагические письма к шефу жандармов Бенкендорфу.

В журнал стекаются запрещенные цензурой, ненапечатанные пушкинские творения: «прекрасные пополнения к прежним изданиям», — говорит о них Афанасьев.

Но и через двадцать лет после смерти поэт для властей — все тот же опасный бунтовщик, как некогда для Николая и Бенкендорфа. Бунтарские стихи не стареют.

— В редакции лежат рукописные сборники, до краев заполненные стихами и прозой Пушкина, а напечатать нет возможности, — жалуется знакомым Афанасьев.

Он по сто раз перечитывает каждую строчку:

— С этим не выступишь; хорошо бы в Лондон переправить. А вот это можно и у нас попробовать. Ну хоть намеком…

Журнал Афанасьева набит намеками.

Скромные заметки, дополнения, поправки.

«В предыдущих изданиях оказались выпущенными…»— следуют прорываемые многозначительными «и так далее», «и проч.» мятежные строки «Деревни», «Андрея Шенье», «К морю».

> И Пушкина стихи в печати не бывали;
> Что нужды? их и так иные прочитали…

Эти строки из «Послания цензору» также напечатаны впервые в «Библиографических записках». Многие заметки в журнале на то и рассчитаны, что Пушкина «и так иные прочитали»: запрещенные стихи Пушкина в бесчисленных списках гуляли по стране.

Говорится, например, что из «Андрея Шенье» «выпущены сорок три превосходных стиха». Далее приведено всего пять строк, затем поставлено «и проч.»

«И проч.» — это то, что нельзя печатать и через двадцать лет после смерти Пушкина. Но об этих строках можно напомнить читателям. Один восстановит их в памяти, другой узнает, откуда они, третий поищет у знакомых полный список стихотворения.

Иногда напоминание более бегло: «К 1821 году относятся еще следующие стихотворения Пушкина: 1) «Христос воскрес», 2) «Кинжал», 3) эпиграмма, оканчивающаяся словами:

> Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить
> И в самой подлости осанку благородства…»

Или: «К 1827 году относится послание Пушкина, начинающееся стихами:

…Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд…»

Читатель сообразит, что начинается послание другими стихами:

Во глубине сибирских руд…

Порой даже не строка, не заголовок — лишь: «Ода, встречающаяся очень часто в рукописных сборниках стихотворений Пушкина». Понятно — «Вольность».

Или одно только слово, исключенное в прежних изданиях. Указывается: в пятой строке стихотворения «Из Пиндемонти» пропущено слово «царям», в пятнадцатой — «для власти, для ливреи». И того довольно. Читатели сопоставят пропущенное с тем, что было напечатано, узнают о желании поэта —

…для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.

Отрывок из Кишиневского дневника — «9 апреля, утро провел я с Пестелем…» Дневниковые записи и заметки по рукам ходят меньше, чем ненапечатанные стихи Пушкина, читателю труднее их расшифровать. «Библиографические записки» отсылают читателей (если так не догадаются) к другому журналу. После первых слов отрывка — «9 апреля, утро провел я с П-ъ» — сноска: «Это то самое лице, о смерти которого Пушкин сделал заметку под одним из своих стихотворений. См. «Русский вестник», 1856, № 11».

К заметке о встрече с Кюхельбекером, который обозначен К*, также дана сноска: «Автор драматической шутки «Шекспировы духи», напечатанной в СПБ, в 1825 году».

Иногда важно хоть слегка приоткрыть завесу, хоть предупредить читателя: «К NN. Это превосходное послание написано к Чаадаеву. Оно напечатано с такими переделками и сокращениями, что совершенно утратило первоначальный смысл, а местами и смысл вообще».

Злобствует «Северная пчела». Булгарин, разбитый параличом — жить осталось считанные месяцы, — воюет с «Библиографическими записками», по-прежнему воюет с Пушкиным.

Дает советы: сочинения поэта хотелось бы видеть более

«просеянными». Оскорбляет память Пушкина: «В нем действовали страсти, волнуемые раздражительностью, и это производит брызги неблагоуханные и на вид отвратительные». Доносит на журнал и, по старой памяти, на поэта: «Многие места этих писем могут набросить тень на образ мыслей и характер Пушкина».

Афанасьев насмешливо читает источающие яд фельетоны «Северной пчелы»:

— Даже почетно, знаете ли, быть пронзенным пером Фаддея. Тотчас оказываешься в одном обществе с Пушкиным, Гоголем, Белинским…

И, слегка переделывая, повторяет некрасовские строки:

Мы ловим звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья…

Это честь — драться с булгариными за живого Пушкина.

Пушкин продолжается в битве новых поколений с его врагами.

Пушкин живет на страницах афанасьевского журнала: любуется цепью Кавказских гор, стоит задумчиво у печального фонтана Бахчисарая, куролесит, влюбляется, смеется над врагами, слушает сказки — и каждой строкой своей приносит людям счастье.

Даже в последнем — вообще последнем — номере журнала напечатаны неизвестные строки Пушкина.

А через несколько страниц объявление:

«Редакция «Библиографических записок» еще раз приостанавливает свое периодическое издание на год или на два, смотря по обстоятельствам. О возобновлении «Библиографических записок», при более благоприятных условиях, на которые можно рассчитывать ввиду имеющегося преобразования цензуры, всем, интересующимся нашим изданием, своевременно будет заявлено».

Издание прекратилось в 1861 году.

Газеты трубили о дарованной народу «воле».

Но редакции «Библиографических записок» даже прощальное объявление приходится составлять хитрым языком басни.

А между строк горестный возглас задушенного самовластьем старинного российского журналиста Новикова:

— Против желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь!..

Но есть будущее. И кто-то должен сберечь для него забытую страницу, запретную строку, утраченное слово.

Афанасьев пишет про журнал: «Свой труд приносим мы

бескорыстно русской науке в чаянии, что будет же время, когда сумеют оценить это по достоинству».

«Пермские боги»

В дремучих пермских лесах выбирал придирчивый мастер могучий и податливый сосновый ствол, привозил домой, в деревню, точил топор, нож, разворачивал тряпицу, в которой сохранялись бережно долота, стамески, буравы, и принимался за работу. Из куска дерева вырезывал мастер бога.

Не боги людей, а люди создают богов по образу и подобию своему. Боги, вырезанные старыми мастерами в уральских прикамских деревнях, по-мужицки просты. Христос с лицом то коми-пермяка, то местного татарина, то русского хлебопашца, с тяжелыми, грубыми руками. Скорбная и строгая крестьянка — Богоматерь. Старик-святой — такого бородача встретишь здесь в любой деревеньке — он идет за сохой, поит лошадь, смолит лодку на берегу…

Придавленные тяжким трудом, беспросветной нуждой, заботами о хлебе насущном, люди искали в вере утешение и надежду. Но бог, о котором, запинаясь, читал по книге не умудренный грамотой батюшка, был далек и не ощутим. Людям хотелось своего бога, который спасает не целый мир и не все человечество, а может облегчить житейские тяготы им, мужикам и бабам из села Усть-Косьвы или из деревни Копыловой. Чтобы прийти к такому богу и сказать: вот детишки болеют, изба совсем развалилась, корова молока не дает.

И умелый мастер идет в лес, придирчиво выбирает подходящую сосну…

А потом вырезанного из дерева Христа или святого помещают в церкви, и скоро становится он совсем своим, деревенским, — когда нет молящихся, уходит из храма по делам, заглядывает во дворы, ища себе пропитания, и даже снашивает до дыр башмаки. Один это сам «видел», рассказал другому, третий подтвердил — все «знают».

Уральские деревянные скульптуры называются «пермские боги».

Народ творит богов не только из дерева.

Не только из камня или из металла.

Есть еще материал — податливый, красивый, прочный — слово.

В 1860 году были изданы собранные Афанасьевым «Народные русские легенды».

Когда развилось христианство, народ стал черпать из священного писания темы для своих повествований, сказка стала оборачиваться легендой, писал в предисловии Афанасьев. События и лица из библейской истории претерпели по воле народа удивительные превращения: народ изменял их сообразно своим требованиям.

Это народное осмысление священного писания и заинтересовало Афанасьева в легендах.

Герои «Народных русских легенд», изданных Афанасьевым, сродни «пермским богам», только вырезаны не из дерева — из слов.

Малых ребят отдают в ученье к отцам Иванам; дети вызубривают, плохо понимая, страницы священных книг. Но рядом с книжными богами живут деревенские боги, святые, апостолы из легенд, — у этих и поступки, и речи просты, понятны.

…Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на дороге. Мимо идет Касьян-угодник. Мужик не узнал его и давай просить: «Помоги, родимый, воз вытащить!» — «Поди ты, — говорит Касьян-угодник, — есть мне когда с вами валандаться!» Немного погодя идет тут же Никола-угодник. «Батюшка, — завопил мужик, — помоги мне воз вытащить!» Никола-угодник и помог ему. Вот приходит Касьян и Никола к богу в рай. Бог их спрашивает, где были, что делали. «Я был на земле, — отвечает Касьян-угодник. — Просил меня мужик воз вытащить, да я не стал марать райского платья». — «Ну, а ты где так измазался?» — спрашивает бог у Николы-угодника. «А я шел по той же дорого да помог мужику воз вытащить». — «Слушай, Касьян, — сказал тогда бог. — Не помог ты мужику, за то будут тебе через три года служить молебны. А тебе, Никола, за то, что помог мужику, будут служить два раза в год». С тех пор Касьяну только в високосном году — 29 февраля — молебны служат. А Николе всякий год два раза.

Честь святым от того, как они мужику помогают; да и сами святые из легенды по разговору и поведению очень похожи на мужиков. Молотят хлеб, варят пиво, а случается, ходят с сумой по миру.

Боги народных легенд дружат с бедняками, нищими, а с богатеями и попами они не в ладах.

Христа, одетого странником, богатей гонит со двора, бедняк же и в избу ночевать пускает, и последним куском делится. Христос за то благодарит бедняка, а богатея наказывает.

Поп — завидущие глаза — разорил весь приход, обозлился, подошел к иконе, ударил угодника Николу по голове ключами и отправился на большую дорогу искать богатства и счастья. На дороге встретил он самого Николу, не узнал его и ночью стянул из кармана у святого просвирки.

Угодник, чтобы наказать попа, затягивает его в опасные приключения, а когда поп вдоволь намучился и натерпелся страху, говорит: «Служи верно, не жадничай да не бей ключами Николу по плеши».

«Народные русские легенды» в книжных лавках не залежались; в воспоминаниях современника сказано просто и точно: книгу «расхватали».

Афанасьев весело объясняет:

— Без конца ходят слухи, что книгу не то запретили, не то собираются запретить. Вот все и спешат приобрести!..

Но слухи ходят недаром.

Властители церкви «создавали» богов по иному образу и подобию, чем безымянные авторы легенд.

Епископ харьковский, а позднее херсонский, Иннокентий находил полное сходство «царствия небесного» с самодержавной Российской империей. «Нет, на небесах не все равны, — учил епископ. — Как у нас табель о рангах, так и там: серафимы, ангелы, херувимы — все разные чины и должности».

Властителям церкви, которые «сочиняли» небеса, похожие на Российскую империю, «Народные русские легенды», изданные Афанасьевым, пришлись не по вкусу.

Петербургский митрополит Григорий помещает в церковном журнале разбор книги. Легенды собраны и изданы человеком, забывшим совесть, не ведающим бога, подводит итог митрополит.

Это осуждение открытое и опасное.

Но страшнее доносы тайные. Когда не знаешь точно, что сказано. Когда, отвечая, боишься ошибиться.

Тайные письма, цель которых уничтожить Афанасьева, а заодно цензора, издателя, книгопродавцев, пишет к властям духовным и светским человек, настоящее имя которого Василий Михайлович Дроздов, но которого вся Россия долгие годы знает и боится под именем Филарета, митрополита московского.

Про московского митрополита говорят, что он совершенный государь Николай Первый в рясе. Еще говорят, что бездушен, мелочен, тщеславен.

Знакомый Афанасьева пошутил как-то (шепотом!):

— Я видел многих, обращенных в христианство «Хижиной дяди Тома», и ни одного, обращенного проповедями Филарета.

Афанасьев сказал:

— Да в моих народных легендах в миллион раз больше нравственности, правды, человеколюбия, чем в высокопреосвященнейших проповедях.

Но Филарет пишет, что легенды, изданные Афанасьевым, полны кощунства и безнравственности, оскорбляют благочестивее чувство и — приличие, — надо охранять религию от печатного поругания.

Афанасьев не читает доносов Филарета, но знает про них.

«Народные русские легенды» продают из-под полы сперва по три, потом по пять рублей за экземпляр.

Зло шепчутся в московских гостиных духовные особы и богомольные добродетельные старухи с многотысячным годовым доходом.

Отставлен цензор, пропустивший книгу в печать.

Владимир Иванович Даль — большинство легенд послал Афанасьеву он — в тревоге пишет из Нижнего Новгорода московскому приятелю: «Слышал, будто история с легендами и меня коснется, — узнайте повернее и уведомьте».

В типографию Грачева, где начато печатание второго издания, является жандарм с бумагой — на отпечатанные листы наложен арест; жандармы на телеге увозят листы в кладовую Московского цензурного комитета; там их вскоре сожгут.

Афанасьев вдруг подает прошение об отпуске. В самом деле пора отдохнуть: русские сказка, статьи, книга о журналах Новикова, свой журнал «Библиографические записки» да к тому же постоянная служба в архиве… Нет, он положительно решил набраться сил, здоровья, развеяться немного.

В самый разгар истории с «Легендами» правитель дел состоящей при Главном московском архиве министерства иностранных дел Комиссии печатания государственных актов и договоров надворный советник Александр Афанасьев отбывает для отдыха и лечения за границу.

Есть у него, правда, небольшое дельце в Лондоне: недавно там вышла без цензурных изъятий одна забавная книжица, составленная Афанасьевым. Книжица называется: «Народные русские легенды».

Письма Афанасьева из заграничного путешествия до сих пор не найдены. Напечатано лишь несколько отрывков: из Неаполя Афанасьев пишет о борьбе итальянцев за свободу и единство, о победах Гарибальди.

В дневнике, где Афанасьев любил поразмышлять вольно и обстоятельно, куда смело переписывал целые страницы запрещенных рукописей, о путешествии всего несколько строк: «1860 год. С июля до октября был за границей в Берлине,

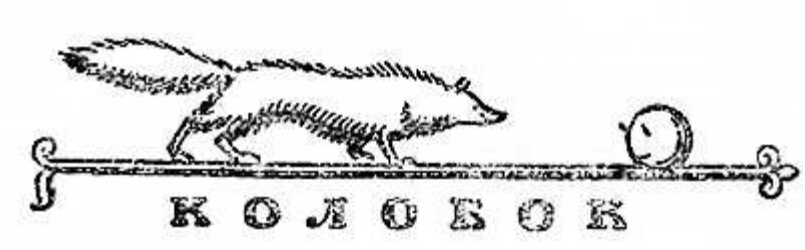
Дрездене, на Рейне, в Брюсселе, Лондоне, Париже, Страсбурге, в Швейцарии и Италии (в Неаполе видел Гарибальди и праздник в честь его), в Вене и через Варшаву возвратился в Москву».

Были, наверно, причины не откровенничать на этот раз и с собственным дневником.

Вскоре после возвращения путешественника в изданиях лондонской Вольной типографии появляются материалы, которые прежде хранились в тетрадях и дневнике Афанасьева, а также некоторые любопытные и не подлежащие широкой огласке документы из Московского архива министерства иностранных дел. В «Полярной звезде» Герцена и Огарева печатаются неизданные прежде творения Пушкина и материалы для его биографии.

На бесконечные расспросы знакомых о путешествии Афанасьев очень искренне отвечает, что съездил как нельзя лучше.

Колобок



Путешествие из Петербурга в Москву

На станциях кондуктор вынимает из железных ящиков остывшие кирпичи и кладет на их место горячие. В вагоне холодно. Декабрь начался лютыми морозами.

Афанасьев ставит на горячий ящик застывшие ноги. Он сидит на диванчике в зимнем пальто, держит в руках (не снимая перчаток) газету. Но читать не удается. Сидящий напротив молодой чиновник ведомства народного просвещения говорит, не умолкая, от самой Москвы. Политические события в России, действия и распоряжения правительства волнуют его необыкновенно, он подробно обсуждает их, громко размышляет, спорит сам с собой, доказывает что-то вымышленным противникам и то и дело вопросами пытается вовлечь Афанасьева в разговор.

— …Но реформа не может не изменить общественных отношений; вы со мной не согласны, милостивый государь?

— Я лицо архивное, в современных вопросах плохо разбираюсь, — вежливо улыбается Афанасьев. — Моя стихия — пыль времен.

— И все-таки… — опять принимается за свое назойливый сосед.

Афанасьев украдкой достает из кармана часы: неужели так и проговорит до самого Питера, все двадцать два часа без передышки?..

Быстро темнеет. Кондуктор приносит фонарик со свечой и прицепляет к ручке дивана.

— Разрешите? — Сосед-чиновник прикуривает от свечи

сигару.

— Спокойной ночи, милостивый государь, — отзывается Афанасьев, плотней запахивает пальто и, закрыв глаза, откидывает голову на спинку дивана.

Сосед тотчас замолкает. Афанасьев слышит его обиженное сопение. Через несколько минут оно переходит в спокойный и сладкий храп,

Афанасьеву не спится. Надо собраться с мыслями перед завтрашним днем: все припомнить и, что возможно, рассчитать наперед.

Итак…

Месяцев восемь назад, ранней весною нынешнего 1862 года кто-то (Афанасьев старательно вычеркивает из памяти имена) сказал ему, что в Москву приехал человек от Герцена и хочет его, Афанасьева, видеть. Человек был не простой, звали его Василий Иванович Кельсиев. Афанасьев знал, что Кельсиев весьма близко связан с Герценом, постоянно встречается с ним в Лондоне. Знал также, что правительство охотится за Кельсиевым, считая его одним из главных «агентов» Герцена и Огарева — «лондонских пропагандистов», как их именовали. Кельсиев прибыл в Россию тайно, с паспортом «турецкого подданного Яни»: разыгрывать «турка» или кого другого для Кельсиева нетрудно — он свободно говорит на четырнадцати языках.

Афанасьев назначил турецкому подданному Яни свидание у себя дома. Беседовали о лондонских изданиях, о пересылке материалов для «Полярной звезды» и «Колокола», беседовали о положении дел в России. Кельсиев расспрашивал про раскольников — людей, которые стояли за старую, «чистую» веру и выступали против казенной церкви. Он полагал, что раскольники могут стать силой в революции. Афанасьев в раскольничью революцию не верил, но некоторые секретные документы о раскольниках хранились у него в архиве.

Встретились еще раз-другой и расстались. Вскоре Виктор Иванович Касаткин (Афанасьев даже в мыслях тут же поправился: «кто-то») сообщил ему, что Кельсиев благополучно исчез из пределов Российского государства.

Летом в Петербурге арестовали Чернышевского, сподвижника его Николая Серно-Соловьевича, нескольких знакомых Афанасьева, а также известных ему людей. Прошел слух, что властями был задержан служащий петербургского торгового дома «Фрум, Грегори и К°» некто Павел Александрович Ветошников, который возвращался из Лондона, где был в командировке, и вез, между прочим, письма от Герцена, Огарева и других «преступных лиц». В письмах было названо немало имен. Афанасьеву шепнули,

что тайный приезд Кельсиева в Россию стал известен правительству.

Афанасьев на всякий случай сжег кое-какие бумаги, припрятал дневник, убрал с книжных полок лондонское издание «Народных русских легенд» и стал ждать. Прошел месяц, два — Афанасьев успокоился. Вроде бы пронесло.

В конце сентября вдруг допросили московского купца Шибаева и отставного офицера Петровского; Афанасьев знал про них, что были связаны с Кельсиевым. Он встревожился. Но опять прошел месяц, два — тихо. И Афанасьев окончательно поверил, что пронесло.

Он не знал тогда, что имя его уже внесено в изящную записную книжечку генерал-майора Дренякина, известного жестокими усмирениями крестьянских бунтов и теперь присланного из столицы в Москву с приказом выловить всех, кто так или иначе связан с «лондонскими пропагандистами». Афанасьев не ведал, конечно, и о том, что Дренякин не производит арестов, чтобы избежать шума, чтобы никого не «спугнуть», но уже доложил в Петербург, что все подготовил и может арестовать подозрительных «тонко и хорошо».

К Афанасьеву пришли неожиданно в конце ноября. Показали предписание о проведении обыска. Быстро заглянули в платяной шкаф, нехотя порылись в сундуке со старыми вещами. В кабинете задержались. Доставали по одной книге с полки, перелистывали, трясли — не спрятано ли что между страницами. Специальный жандармский офицер сидел у стела в афанасьевском кресле, внимательно читал бумаги. Котофей Иваныч, уже наполовину седой от старости, неслышно ступая, вошел в кабинет, удивленно огляделся, потянулся лениво и прыгнул, по привычке должно быть, на колени сидевшему за столом офицеру. Жандарм вздрогнул от неожиданности, вскочил, зло сбросил на пол Котофея да еще ногою пнул. Перевел дух, взглянул сердито на неподвижно сидевшего в углу Афанасьева и пробормотал: «Прошу прощенья». И снова зарылся в бумаги. Часа в три ночи (словно кто-то шепнул им одновременно) вдруг спохватились, застегнули шинели, откозыряли и тотчас исчезли.

Наутро сторож-инвалид помогал Афанасьеву приводить библиотеку в порядок.

— Ваш благородь, а Котофей-то пропал. Обыскались — нигде нету. Не к добру это, ваш благородь, когда кошка из дому уходит.

«Кошке хорошо, — думает Афанасьев. — Не понравилось — и ушла. А вот человек — попробуй уйди! Человек под надзором. Чтобы проехать по железной дороге из Москвы в Петербург, мало взять билет, надо еще паспорт сдать обер-кондуктору».

Он снова прикидывает, о чем его могут спросить завтра, готовит ответы. Вспоминает первый допрос — у Дренякина. С Кельсиевым незнаком, в глаза не видел (в Москве встречались один на один, а если и знал кто, так доказать не сумеет). С Касаткиным (Виктор Иванович счел за благо вовремя скрыться за границу) редактировали вместе журнал «Библиографические запуски», занимались литературой — не политикой. Путешествуя по Европе, он, Афанасьев, действительно посетил Лондон, однако Герцена не видел, — интересовался лишь достопримечательностями британской столицы. Каким образом «Народные русские легенды» оказались изданы в Лондоне, понятия не имеет: кстати, появились они там до того, как сам он отправился путешествовать…

Стоять на своем: незнаком, не встречался, не знаю…

Афанасьев вдруг вспоминает, как давным-давно, в гимназии, хотели его высечь, а он не дался. И не высекли.

Он вспоминает: недовольные замечания министра Уварова, печатные доносы Булгарина, гнев митрополита Филарета, тайные посылки Герцену — все пока обходилось…

Громко стучат колеса, вагон потряхивает.

За окном ни зги не видать: безлунная ночь, метель.

Хорошо бы соснуть хоть часок — для свежести мысли.

Засыпая, Афанасьев успевает подумать, что все обойдется.

В лад бойкому колесному перестуку в памяти его мечется веселая песенка:

Я от де-душ-ки у-шел,
И от ба-буш-ки у-шел…

…Афанасьев просыпается, когда поезд, сбавив ход, медленно ползет вдоль перрона.

Столица Российской империи, город Санкт-Петербург.

В вагон на ходу прыгает обер-кондуктор, открывает висящую через плечо кожаную сумку с ярко начищенными медными защелками, пряжками, со множеством карманов и карманчиков, — начинает выдавать паспорта,

Смягчая вчерашнюю резкость, Афанасьев широко улыбается соседу:

— Доброе утре, сударь!..

— Доброе утро, доброе утро, — радостно отвечает чиновник ведомства народного просвещения. — Не угодно ли, милостивый государь, сигарку натощак?

— Благодарю вас. Однако сейчас вылезать, а на улицах в пределах государства Российского курить, как известно,

строжайше запрещено.

Поезд сильно дергает напоследок и останавливается.

Афанасьев откланивается попутчику и спускается из своего ярко-желтого вагона второго класса на перрон.

Мороз отпустил. Снег скрипит под ногами. Над перроном стоит веселый, громкий хруст. Свежий воздух бодрит. Афанасьев легко идет по перрону — мимо голубых вагонов первого класса, мимо паровоза с высокой трубой, — выходит на площадь.

Во времена Петра Великого где-то здесь, вблизи нынешнего вокзала, был «зверовой двор»; когда персидский шах подарил Петру слона, животному сшили огромные кожаные сапоги, в них слон прошел пешком от Астрахани до Петербурга. Афанасьев читал об этом где-то. Он бодро шагает по Невскому, как всегда не оглядываясь по сторонам и словно всматриваясь во что-то стоящее далеко впереди.

У входа на мост — будка, раскрашенная белыми и черными полосами с красной каймой. Возле нее стоит будочник в серой шинели и высоком, как паровозная труба, кивере.

Афанасьев напевает песенку

Секретарь особой следственной комиссии, внимательно оглядев конец пера (чтобы, упаси бог, кляксы не получилось), старательно выводит на чистом листе:

«1862 года декабря 9 дня. Допрос вызванному из Москвы надзорному советнику Афанасьеву…»

Стол, покрытый зеленым сукном, портрет государя в рост.

«Какая тоска, — думает Афанасьев. — Стоит посетить хотя бы одно присутственное место, и знаешь наизусть, что будет во всех остальных».

Появляется председатель комиссии князь Александр Федорович Голицын, доверенный человек царя.

Герцен называл Голицына — «отборнейший из инквизиторов».

Афанасьев вдруг вспоминает, что Голицын вел когда-то следствие по делу молодого Герцена. Тогда и князь был моложе: его называли Голицын junior — Голицын-младший.

«Забавно, — думает Афанасьев, — я, кажется, наследую не только друзей, но и судей Герцена».

Князь Голицын, не задерживаясь, приступает к допросу. Он вежлив, не настойчив, всем своим видом словно хочет показать,

что вот-де выпала на его долю не слишком приятная обязанность задать несколько вопросов и записать ответы, он ее и выполняет.

Афанасьев в первые минуты чувствует, что тон князя его успокаивает, словно усыпляет; он спохватывается — с отборнейшим из инквизиторов надо держать ухо востро.

Но вопросы пустячные. Афанасьев предвидел их, как предвидел зеленое сукно на столе и портрет царя.

Встречались ли в марте сего года с государственным преступником Василием Ивановым Кельсиевым, приезжавшим в Россию с подложным паспортом турецкого подданного? Каковы ваши отношения с ныне пребывающим за границей Виктором Ивановым Касаткиным, обнаруженные письма которого указывают на его преступные мысли и намерения? Находясь два года назад в Лондоне, случилось ли вам посетить проживающих там преступных пропагандистов? Знакомы ли вы с… (названы несколько имен)?..

Про «Легенды», изданные в Лондоне, даже-не спросили.

С Кельсиевым незнаком. С Касаткиным редактировал ученый журнал «Библиографические записки». У пропагандистов в Лондоне не был. Из названных лиц двоих знает, а одного видел мельком.

Приводят какого-то человека (лицо его показалось Афанасьеву знакомым: не он ли в первый раз провожал Кельсиева до архива?).

— Знаком ли вам этот господин?

— Нет.

— А вы, сударь, могли бы чем-нибудь доказать, что сидящий перед вами господин Афанасьев принимал в Москве государственного преступника Кельсиева?

Афанасьев чувствует, как все внутри сжалось в комок.

— Нет. Доказательств не имею.

Человека уводят.

— Итак?..

Итак, он, надворный советник Александр Николаев Афанасьев, категорически отрицает свое знакомство с Кельсиевым; он категорически отрицает…

— Комиссия не имеет к вам более вопросов, милостивый государь, — вежливо говорит князь Голицын. — Вы можете возвратиться по месту жительства и продолжать исполнение своих обязанностей.

Идя к двери, Афанасьев слышит размеренный голос Голицына; князь диктует секретарю:

— …и поскольку на допросе не сознался и на очной ставке уличен не был…

Прикрывая за собой тяжелую белую дверь, Афанасьев, сам не замечая того, бормочет:

И от волка ушел,
И от медведя ушел…

…До обратного поезда довольно времени. Афанасьев заходит к историку литературы и библиографу Петру Александровичу Ефремову, в недавнем прошлом деятельному сотруднику «Библиографических записок».

Петр Александрович сидит зарывшись в книги, тетради, карточки, копошится день-деньской в бумагах, вычитывает, выписывает, спины не разгибает, но откуда-то знает все, что творится вокруг.

С Афанасьевым он крепко связан. Два года назад Ефремов провожал Афанасьева за границу. К появлению в изданиях Герцена некоторых интересных материалов Ефремов тоже приложил руку. А посмотришь, копошится человек в бумажках, в карточках — далекий от жизни человек.

Ефремов подымается из кресла, идет навстречу Афанасьеву:

— Ну что?

Спрашивает обеспокоенно. Уже все знает.

— Обошлось.

В подробности Афанасьев не вдается.

— А Чернышевский всё там. — Ефремов кивает головой, словно Петропавловская крепость прямо перед ним. — В Алексеевском равелине.

— Я видел его месяца за два до ареста, — говорит Афанасьев. — Он показался мне слишком самолюбивым. Но теперь это не имеет значения. Еще меня поразило, как безгранично верует в него молодежь. Казалось, весь молодой Петербург крутится вокруг Чернышевского. В чем его обвиняют?

— По слухам, что-то насчет революционных прокламаций, появившихся после реформы, — помните, воззвания к барским крестьянам, к солдатам. Вам случалось их читать?

— Мельком видел.

Афанасьев сжег прокламации, ожидая обыска.

— Прокламации, я вам скажу, самые воинственные — прямой призыв к бунту.

— Ну, бунты не трудно было предвидеть, Ни манифест царский, ни положение об отмене крепостной зависимости крестьянского вопроса не решили. Есть сказка про то, как мужик показывал пшик. С важными приготовлениями раскалил иголку, все ждут — что-то будет, а он бросил иголку в воду — вот и

вышел пшик.

— Здесь сильно боялись революции. Полный город солдат, жандармов. У Зимнего кареты, на случай если придется бежать. Принц Ольденбургский укреплял свой дворец военными мерами. У всех набиты сундуки — готовились за границу. Встречаю одну даму, близкую ко двору. «Что за паника, ваше сиятельство?» — «Ах, не спрашивайте! Сулят ужасы!» Две недели не объявляли манифест…

— Странная вещь, — говорит Афанасьев, — о самых строгих мерах устрашения и подавления правительство заявляет смело и незамедлительно. А о постановлениях, которые изображаются необыкновенно желанными для народа, сообщать обычно не торопится и даже побаивается. Слишком много пшику.

— В первых строках манифеста говорятся, что самим дворянам поручено было определить будущее своих крепостных. А писал-то манифест ваш старый знакомый: митрополит Филарет.

— Минувшим летом я гостил у своих в Воронежской губернии и встретил там бывшего нашего приятеля Александра Станкевича. Тоже ведь недавно скорбел о страждущем человечестве, а теперь затребовал в папенькино имение солдат: крестьяне отказались отправлять барщину. Десять лет назад Александр Владимирович Станкевич повесть об идеалисте писал, возвышенную до нелепости, а теперь у него на глазах мужиков порют розгами. Петь сладкие песни все мастера, но как пирогом поделиться — накось выкуси!…

Ефремов идет провожать Афанасьева. На улице и на вокзале беседуют о делах литературных.

— Думаю выбрать и отдельно издать сказки, подходящие для детского чтения, — рассказывает Афанасьев уже у вагонных ступенек. — Нравственная чистота народных сказок и чистота их языка принесут огромную пользу первоначальному воспитанию.

И неожиданно повторяет, опять без подробностей:

— Хорошо, что здесь обошлось.

Ефремов помогает Афанасьеву взобраться на высокую ступеньку.

Бывают же совпадения? На соседнем диванчике видит: Афанасьев все того же молодого чиновника ведомства народного просвещения. Точно и не выходили нынче утром из вагона. Уютно горят фонарики, прицепленные к ручкам диванов.

— Милостивый государь!

Чиновник счастливо улыбается и, будто для объятий, распахивает руки.

— Очень рад! — вежливо наклоняет голову Афанасьев и

усаживается поудобнее на свой диванчик.

— Разрешите? — Попутчик отодвигает крышку фонарика и от свечи прикуривает сигару. — Разрешите полюбопытствовать, сударь, удалось ли вам благополучно покончить с вашими делами?

— Как нельзя лучше!

Трижды звякает вокзальный колокол.

Качнулся и поехал за окном Ефремов. Едут за окном провожающие дамы и господа (многие машут платочками), фонарные столбы, начальник станции, похожий на подосиновик в своей рыже-красной фуражке, и в самом конце перрона — неподвижный, как изваяние, полицейский чин в длинной серой шинели и каске с шишаком.

Поезд набирает ход. Вагон основательно потряхивает. Колоса тарахтят всё громче и быстрее.

И от де-душ-ки у-шел…

Пометка на полях

От старой лисы Голицына Афанасьев не ушел.

И хотя в ходе следствие улик против Афанасьева не обнаружено, хотя в приговоре, который вынесут только через два года, будет сказано, что надворный советник Афанасьев по настоящему делу от суда освобожден, были еще негласное следствие и негласным приговор.

Ничего не обошлась.

Тот же секретарь, который на заседании следственной комиссии записывает, что Афанасьев ни в чем не уличен, строчит под диктовку председателя комиссии князя Голицына доклад его императорскому величеству:

«Имея в виду, что чиновник — сей обвиняется в сношениях с Кельсиевым и, служа в Московском архиве Министерства иностранных дел, может содействовать неблагонамеренным людям к приобретению из архива таких документов, которые без разрешения Правительства открыты быть не могут, я полагал бы нужным обратить на это обстоятельство внимание министра иностранных дел для зависящих от него распоряжений».

И Александр «Второй собственноручно начертал карандашиком на докладе князя Голицына: «Необходимо».

С этой минуты никого уже не интересуют ни убедительные ответы Афанасьева на вопросы, ни опровергнутые им улики, ни показания других обвиняемых, ни приговор, хотя все это, сменяя один другого, записывают и переписывают аккуратные, исполнительные секретари, и нумеруют листы (сотни листов), и укладывают их в папки, и нумеруют папки, и складывают их на зеленое сукно — к ногам государя императора: огромный портрет его во весь рост висит над столом, за которым заседает комиссия.

С декабря 1862 года судьбу Афанасьева решает одно слово, начертанное царским карандашом: «Необходимо».

«Необходимо!»

…Больше не найдем Афанасьева по знакомому адресу — в старинном доме архива у Ивановского монастыря. Однажды утром шесть подвод, нагруженных сундуками, баулами, ящиками и громоздкой мебелью, остановились у дверей бывшей афанасьевской квартиры. Шесть подвод, доверху нагруженных, покрытых по случаю сырой погоды холстами, стояли у дверей тяжелой горной грядой. Теперь в квартире Афанасьева живет его преемник — пожилой чиновник с супругой, человек очень достойный; но сказок он не читает, тем более не издает, статей не пишет, журналов не редактирует, и теперь в окне афанасьевского кабинета, которое светилось, бывало, далеко за полночь, по вечерам темно, потому что в комнате, где у Афанасьева был кабинет, у чиновника с супругой и не кабинет вовсе, а спальня, и ложатся они рано. Теперь у Афанасьева замысловатый адрес, из тех, над которыми посмеиваются москвичи: «За Яузой на Арбате, на Петровке, не доходя Покровки, позади Якиманской, не доходя Мещанской», — и такой адрес означает обычно деревянный дом, окруженный садом или огородом и укрытый от глаз прохожих глухим, плотно сбитым забором, дощатые мостки вместо тротуара и стаи собак (без крепкой палки нельзя на улицу выйти). Больше не найдем Афанасьева под сводчатыми потолками архива, среди шкафов и ларей, где сберегаются древние царские грамоты с сургучными печатями величиной в ладонь, и сокровенные письма — пожелтелые листки, яростно пересеченные стремительными каракулями Петра, и ветхие столбцы, хранящие вековой давности тяжбы, — навеки отлитый в слова быт минувших времен. И в адресной книжке, где аккуратно, дважды — сперва по учреждениям, а потом по алфавиту — перечислены все московские чиновники, имени Александра Николаевича Афанасьева не найдем.

«Необходимо!»… Министр иностранных дел отдал зависящие от него распоряжения. С 1863 года надворный советник Афанасьев в списках министерства не числится.

Раз или два в неделю Александр Николаевич появляется у Ивановского монастыря, в доме, где прожил тринадцать лет: в архиве служит родственник Афанасьева, чиновник Иван Федорович Аммон, женатый на его сестре. Иван Федорович старается помочь Афанасьеву, как стараются помочь ему остальные друзья, но все обременены семьями и средства у всех невелики. Да и к тому, что человек бедствует и что помочь ему никак нельзя, люди тоже привыкают: время, будни, повседневные заботы смягчают острое чувство, что рядом у кого-то беда.

Александр Николаевич приходит в дом, где тринадцать лет прожил, берет у сестры свечу и отправляется в сарай. Там свалено единственное его богатство — библиотека; больше девать ее некуда — новые квартиры Афанасьева дешевы и тесны. Александр Николаевич отбирает десяток-полтора книг, перевязывает бечевкой. Покупатели всегда находятся: книги у Афанасьева редкие, старинные, есть даже рукописные. Сначала он отбирал и связывал в пачки те, что меньше ему дороги, потом стал вязать подряд. Петр Александрович Ефремов в письмах из Петербурга скорбит об истреблении бесценной афанасьевской библиотеки; Афанасьев невесело шутит:

— Прежде книги питали меня мыслями, теперь — хлебом.

Афанасьев три года ищет службу.

За него хлопочут в Москве, в Туле, в Нижнем Новгороде, ему шлют обнадеживающие письма — губернатор согласен и, кажется, есть рука в министерстве, — но всякое прошение, как на глухую стену, натыкается в конце концов на царское словечко «необходимо» (наскоро — карандашиком— на полях), и это словечко для особ власть предержащих уже не просто «необходимо» («обратить внимание министра»), а «невозможно!», «нельзя!!», «нет!!»»

Журналы, газеты, издательства приглашают Афанасьева сотрудничать— «Библиотека для чтения», «Санкт-петербургские ведомости», «Современное обозрение», «Энциклопедическкй лексикон», «Словарь замечательных людей», «Филологические записки»… Но случайными статьями не проживешь, а жить одними статьями Афанасьев не хочет: он чувствует, что главное дело жизни еще не завершено. Литератору это не трудно почувствовать, — когда пишешь одно, мучительно томясь оттого, что не пишешь совсем другого.

Появился на свет последний выпуск «Народных русских сказок» — их читают по всей России, уже начинают называть просто «Сказки Афанасьева». Знаменитые европейские профессора высоко оценивают ученую деятельность Афанасьева, восхваляют его обширные познания, глубину и важность его

трудов.

После трех лет мытарств первый издатель русских сказок, известный ученый и литератор Александр Николаевич Афанасьев получил наконец место помощника секретаря в Московской городской думе (сразу после окончания университета он от такой должности, наверно, отказался бы). Через два года, ради прибавки к жалованию, Афанасьев перейдет секретарем же — в Съезд мировых судей 2-го округа города Москвы, а затем, оставаясь на этой службе, согласится исправлять должность опять-таки секретаря при Коммерческом банке. Иной должности — кроме как секретаря — Александру Афанасьеву теперь в России не находится.

Переписывает бумаги, регистрирует входящие и исходящие, составляет доклады для начальства.

Съезд мировых судей помещается в доме князя Куракина у Красных ворот. Еще в давние времена обер-шталмейстер, тайный советник, действительный камергер Александр Борисович Куракин, прозванный за несметное богатство «бриллиантовым князем», устроил в своем доме богадельню. Теперь в старом доме нашлось помещеньице и для съезда судей. Афанасьев не завидует старикам, получавшим некогда призрение в куракинской богадельне.

Он долгие часы сидит согнувшись над бумагами — стынут руки, мерзнет спина, его пробирает озноб. Квартира у него тоже сырая и холодная.

Афанасьев не удивляется, когда начинает покашливать и когда кашляет сильно; в кругу знакомых он называет это «легочным расстройством».

В Петербурге действовало Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым; члены общества, знакомые Афанасьева, одолевают его письмами — просят навестить того или другого нуждающегося литератора, разузнать в подробностях обстоятельства его жизни, определить размер пособия. О помощи самому Афанасьеву в обществе возник разговор слишком поздно; весной 1872 года Иван Сергеевич Тургенев в письме из Парижа доказывает Фету, что литературные труды Афанасьева дают ему право на пособие («обеспечение от голода, холода и прочих гадостей»), а Афанасьев уже полгода как похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Иван Сергеевич Тургенев был под следствием по тому же делу, что и Афанасьев, — его тоже обвиняли в сношениях с «лондонскими пропагандистами». Об Афанасьеве знали только (и то неточно), что встречался с Кельсиевым, — имя Тургенева часто упоминалось в письмах, отобранных у Ветошникова; из

документов и показаний стало также известно, что Тургенев, под именем Лариона Андреевича, помогал деньгами революционеру Михаилу Бакунину.

Ивана Сергеевича, который жил тогда во Франции, затребовали из Парижа в Петербург, но он долго под разными предлогами отказывался ехать. Тургеневу направили «допросные пункты» в Париж, и он отвечал на них письменно, Затем, правда, ему все-таки пришлось прибыть в Петербург, там Тургенев быстро понял, что ничего страшного с ним не произойдет. «Мои шестеро судей, — извещал он своего друга, — предпочли поболтать со мной о том о сем…» Вскоре Ивану Сергеевичу разрешили снова отправиться за границу.

Тургенев приезжал в Россию в те самые дни, когда Афанасьев, «освобожденный от суда», а также от должности, от квартиры, от хлеба насущного, отчаянно искал хоть какого местечка, куда взяли бы на службу, и продавал драгоценную библиотеку, сваленную в сарае.

…В сборнике Афанасьева есть сказочка про кочетка, и курочку.

«Жили курочка с кочетком, и пошли они в лес по орехи. Пришли к орешне; кочеток залез на орешню рвать орехи, а курочку оставил на земле подбирать орехи: кочеток кидает, а курочка подбирает. Вот кинул кочеток орешек, и попал курочке в глазок, и вышиб глазок. Курочка пошла — плачет. Вот едут бояре и спрашивают: «Курочка, курочка! Что ты плачешь?» — «Мне кочеток вышиб глазок». — «Кочеток, кочеток! На что ты курочке вышиб глазок?» — «Мне орешня портки разодрала». — «Орешня, орешня! На что ты кочетку портки разодрала?» — «Меня козы подглодали». — «Козы, козы! На что вы орешню подглодали?» — «Нас пастухи не берегут». — «Пастухи, пастухи! Что вы коз не бережете?» — «Нас хозяйка блинами не кормит». — «Хозяйка, хозяйка! Что ты пастухов блинами не кормишь?» — «У меня свинья опару пролила».— «Свинья, свинья! На что ты у хозяйки опару пролила?» — «У меня волк поросенчика унес». — «Волк, волк: На что ты у свиньи поросенчика унес?» — «Я есть захотел, мне бог повелел».

Ученые видят в сказке насмешку над судебным разбирательством: бояре не сумели связать концы с концами, не нашли виновного. Но следственная комиссия Голицына не из глупых сказочных бояр — она по своему усмотрению связала концы и назвала виновных. Нелепо порицать тех, кто избежал наказания, но курочка осталась без глаза и волк поросенчика все-таки съел. За предполагаемую связь с Келисиевым пострадал Афанасьев, пострадало еще несколько человек.

А в мае 1837 года на русской пограничной таможне в Скулянах появился человек и попросил солдата передать управляющему таможней записку.

В записке говорилось:

«Неосужденный государственный преступник, изгнанный на вечные времена из пределов государства, Василий Иванов Кельсиев, желая сдаться безусловно в руки правительства, покорнейше просит вас принять меры к его немедленному арестованию».

Самолюбие Кельсиева было несколько ущемлено: заседавшая в Петербурге следственная комиссия арестовывала людей за мимолетное с ним знакомство, а пограничные офицеры, которым он сдался, и не слыхивали его фамилии. Он рассказывал им о своих преступлениях, а они в недоумении пожимали плечами.

Кельсиева отвезли с жандармами в столицу; там, ожидая в тюрьме дальнейшей участи, он писал «исповедь», рассказывал о многих своих «заблуждениях».

Герцена не поразило «крутое превращение» Кельсиева: человек с «неустоявшимися мыслями», «не нашедший дела», он не мог быть спутником надежным и постоянным. «Вера в людей, в науку, в революцию колебалась сильнее и сильнее, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется…» «Исповедь» Кельсиева показала, что вера окончательно «рухнулась».

«Исповедь» читал царь и ни одного рокового словечка на полях не начертал. Спустя четыре месяца после ареста Кельсиеву был вынесен приговор:

«Вы свободны, все ваше прошлое забыто, можете идти куда хотите и делать все, что угодно, — государь вас простил. Теперь ваше дело — загладить прошедшее и доказать, что вы действительно прощены».

Это было в те самые дни, когда Афанасьев, «освобожденный от суда» за неимением доказательств, что он встречался с Кельсиевым, мерз, и простужался, и кашлял в сырой каморке Съезда мировых судей, и все вернее находил у себя признаки той болезни, которую сам он застенчиво величал «легочным расстройством», а все окружающие называли попросту чахоткой.

Долги перед будущим

Через пять дней после допроса Афанасьева в следственной комиссии узник Алексеевского равелина Петропавловской

крепости Николай Гаврилович Чернышевский написал первые строки романа «Что делать?». Роман был начат в знаменательный день — 14 декабря: Чернышевский как бы почтил память тех, кто тридцать семь лет назад вышел на Сенатскую площадь помериться силами с самодержавием.

В инструкции о режиме в равелине говорилось: «В каждую комнату поставлять следует караульного солдата и быть тут со сменою неотлучно день и ночь, наблюдая все содержащегося поступки».

Караульные у двери Чернышевского что ни день докладывали одно и то же: «Сидит и пишет».

Улик против Чернышевского не было. Их не принесли ни долгая слежка, ни внезапный обыск при аресте. Но Чернышевского необходимо было осудить. Стали придумывать улики: готовили лжесвидетелей» сочиняли изобличающие письма, подделывали почерк, писали фальшивки.

Суетились жандармы: измышляли, угрожали, подделывали. Ждали настороженно, когда оступится, когда сломается этот выкованный из стали худощавый человек в очках. А человеку было некогда: он работал.

Настоящее для Чернышевского был Алексеевский равелин. Он писал о прекрасном будущем. Сидя в каменном мешке, писал о городах из стекла и света. Он видел холодные маски жандармов, каменные фигуры караульных, суетливые глаза подставных лиц. А писал о свободных людях, для которых нет «опасений нужды или горя», для которых есть «только воспоминания вольного труда и охоту, довольства, добра и наслаждения… и ожидания только все того же впереди».

Чернышевский закончил «Что делать?» и тотчас начал другой роман — «Алферьев» — тоже о новых людях. Потом последовал еще один — «Повести в повестях». За месяц — с 21 февраля по 21 марта 1864 года — Чернышевский написал двадцать девять рассказов!

Он работал в крепости над обширными учеными статьями, переводил.

Он перевел два тома «Всеобщей истории», два тома «Истории Англии», том «Истории Соединенных Штатов», том «Истории XIX века», «Исповедь» Жан-Жака Руссо.

Все это за один год десять месяцев и две недели, проведенные в одиночке Алексеевского равелина.

Следственная комиссия шила белыми нитками обвинительное заключение. Судьи готовили Чернышевскому будущее: гражданскую казнь у позорного столба, каторгу, бесконечную ссылку. 19 мая 1864 года он взойдет на эшафот; на

грудь ему повесят черную доску с надписью «Государственный преступник»; будет моросить дождь. Чернышевский, слушая длинный приговор, будет часто протирать узенькие учительские очки в металлической оправе; в крепости он зарос бородой, поначалу не все его узнают. Палач переломит над его головой заранее подпиленную шпагу; потом подведут его к позорному столбу, проденут руки в висячие петли из цепей и заставят стоять так несколько минут, чтобы чувствовал себя повешенным, потом увезут — навсегда.

А Чернышевский работал. Он знал, что будущее — не эшафот и не каторга. Будущему посвятил он радостный гимн, созданный в самой страшной тюрьме Российской империи — Алексеевском равелине: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести…»

Не покориться обстоятельствам, смотреть вперед, а не под ноги, дышать полной грудью, даже в петле, даже в одиночке, даже в тисках самодержавной Российской империи, не проживать, не доживать — это, должно быть, и есть подвиг, оправдание жизни своей среди других людей.

У каждого свой размах крыльев, своя высота полета, своя дорога. Одному суждено перепорхнуть с ветки на ветку, другому лететь до экватора; опускать крылья не должен ни тот, ни другой.

Афанасьев не написал «Что делать?». И в каторгу он не попал.

Но и у него были долги перед будущим. В сырых квартирах; без службы, без денег, когда все мысли, кажется, должны быть о хлебе и зимнем пальто, он работает.

Целый день Афанасьев переписывает бумаги, составляет ведомости, подшивает документы в папки. Иногда чувствует, что перо приросло к озябшим пальцам, что спину больше вовек не разогнуть. Вечером он добирается до своей нетопленной квартиры, шагает через порог и оказывается в Золотом царстве-сказки, куда шагнул еще юношей.

Афанасьеву бы выжить и дожить, поправить свои обстоятельства, на худой конец тиснуть лишнюю статейку ради заработка, а он в самые бедственные годы — ни просвета впереди, ни надежды — садится за огромный труд «Поэтические воззрения славян на природу» и завершает его: три тома, две с половиной тысячи страниц!

Снова идем с Афанасьевым в далекое прошлое.

Видим, как наши предки пасут стада, пашут, собирают урожай, строят жилища, горюют и веселятся.

Вместе с нашими предками смотрим в небо, созерцаем неторопливый восход Ярила-солнца, ночью приглядываемся к

двурогому золотому месяцу и синим очам звезд. Удивляемся радуге, пугаемся молнии и грома, радуемся дождю, наблюдаем, как белые, густые облака, меняясь на глазах, принимают знакомый облик зверей и птиц. Вместе с нашими предками, не умея проникнуть в тайны природы, создаем волшебные образы сказок, приметы, верования. (Афанасьев разгадывает образы сказок, приметы и верования, стараясь увидеть мир глазами тех, кто жил века и тысячелетия назад.)

Незнание наполняет мир тайнами, но не объясняет его, пишет Афанасьев. Слово не может заставить светить солнце или падать дождь. Верование не помогает человеку овладеть природой. Оно овладевает внутренним миром человека, рождает в его воображении чарующие образы сказок, но тут же оборачивается и пустыми приметами, нелепыми обрядами, опутывающими жизнь человеческую тяжелыми цепями. Много нужно усилий, смелости, энергии, чтобы разорвать эту невидимую сеть предрассудков и взглянуть на мир светлыми очами.

Так Афанасьев заканчивает свой труд.

За «Поэтические воззрения славян» Академия наук присудила Афанасьеву премию. Он призанял еще денег у друзей и купил в рассрочку домишко — старый, не слишком удобный, но сухой.

Дом он подыскал в переулке между Мещанскими улицами, неподалеку от Щепкиных (Михаила Семеновича уже не было в живых), неподалеку от Кетчора, неподалеку от тех, с кем, худо ли, хорошо ли, прешла его жизнь. Переезжать было легче, чем в молодости к Ивановскому монастырю: сундучок все тот же, а книг нет — осталась стопка самых нужных, Афанасьев держит их на столе. Оглядывает печально пустые стены; кашель мучит его, он думает, что снова закрыть стены книжными полками уже вряд ли успеет. Да и покупать книги не на что.

Он бережет каждую копейку на издание «Русских детских сказок». Отбирает из народных сказок те, что ребятам всего интересней, приспосабливает для детского чтения.

Труд этот Афанасьев задумал давно — еще в те далекие дни, когда составлял первый выпуск своих сказок. «Мысль Ваша о том, чтобы при издании сказок иметь в виду и маленьких читателей, представлялась и мне, — писал од известному ученому Срезневскому. — Но я решился выпустить для детей отдельное издание, не удерживая областных особенностей говора, не обременяя книгу примечаниями и выбравши из нескольких вариантов лучшие по рассказу».

Тогда Афанасьеву казалось, что у него долгие годы впереди, теперь он торопится. Вечером, придя со службы, быстро

сбрасывает потершийся на локтях сюртук, натягивает серую вязаную фуфайку — и снова к столу.

Он подарит детям сказки про теремок, про лису и журавля, про пузырь, соломинку и лапоть, про шустрого Колобка, который катится по дорожке и поет свою веселую песенку.

Афанасьев вспоминает тимонинские прогулки, тихую опушку, яркие цветы иван-да-марьи, широко открытые, потемневшие глаза ребят, которым он рассказывал сказки. Те мальчики и девочки уже выросли; иногда Афанасьев получает приглашения на свадьбу. Вместо подарка он посылает молодым свои книги с шутливыми дарственными надписями.

Ходить по свадьбам ему недосуг. Он спешит рассказать сказки детям этих выросших детей, их внукам, правнукам, он хочет, чтобы все дети, которые будут, пока земля стоит, узнали и полюбили народную сказку. Он хочет, чтобы они поверили, как искони верит народ, что на земле торжествуют справедливость, добро, правда, что счастье не в богатстве и власти, а в «глубоком чувстве любви ко всем страждущим и сострадании к чужому горю».

Афанасьев читает сказку про мальчика и ведьму, сказку своего детства; он снова радуется: не одолела Ивашку злая ведьма, сильные крылья белых лебедей унесли его в будущее.

Для всех Ивашек будущего собрал Афанасьев два тома «Русских детских сказок».

Это последний труд его жизни.

До смерти меньше года, он копит скудное секретарское жалованье, гонорар за статьи, чтобы оплатить художнику картинки к сказкам. Как же это — детские сказки и без картинок?..

Богатый петербургский издатель, зная бедственное положение Афанасьева, предложил (сперва подсчитал барыши, конечно): продайте мне право выпустить детские сказки. Афанасьев отказался: он считал это своим делом. Более того: он считал это своим долгом.

12 августа 1871 года. Разговоры в саду

Павел Лукич Пикулин, прижимаясь ухом к спине Афанасьева, долго его выслушивает, согнутым указательным пальцем простукивает ему грудь и садится за стол — писать рецепты. Не дописав, отодвигает в сторону ворох бума же к и говорит:

— Хорошо бы тебе, сударь мой, уехать на осеннее время в Крым, в Ялту. Обтирания морской водой, виноградный курс, фрукты.

— Хорошо бы, хорошо бы… — повторяет Афанасьев и думает о Съезде мировых судей, о Коммерческом банке, о недописанных статьях. — А может, и не хорошо: вон Михайло Семеныч жил себе в Москве и жил, а поехал в Ялту лечиться и там помер.

Михаил Семенович Щепкин умер в ялтинской гостинице восемь лет назад, 11 августа 1863 года. За три дня до смерти вдруг подозвал слугу:

— Александр, а куда Гоголь ушел?

— Какой Гоголь?

— Николай Васильевич.

— Он уже номер.

— Как — помер? Давно ли?

— Давно.

— Ничего, ничего не помню.

Больше Михаил Семенович уже не говорил…

Прах его привезли в Москву и похоронили на Пятницком кладбище, в одной ограде с Грановским.

— Да, сударь мой, стареем, — помолчав, говорит Пикулин. — Редеет круг. Помнишь у Пушкина: «Кому ж из нас под старость день Лицуя торжествовать придется одному?»

— Только не мне, — вяло смеется Афанасьев и покашливает, как бы в подтверждение.

— Ну, сударь мой, тут я с тобой поспорю!

Павел Лукич лишь недавно оправился после удара, волочит ногу.

Но Пикулин знает, что жить Афанасьеву недолго, и что в Ялту Афанасьев не поедет, и что, если даже поедет, не поможет ему Ялта. И Пикулин слишком громко смеется:

— Ишь ты, раньше батьки в пекло собрался! Тебе, сударь мой, сколько годков? Сорок пять? А мне через год полсотни!

Афанасьев улыбается и читает тоже из Пушкина:

Дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вечор, а нынче умер.
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу…

— Ну, будет тебе, будет… — Пикулин встал с кресла, обнял Афанасьева за плечи. — Пошли, Александр Николаевич, к гостям.

Сад у Пикулина прекрасен, как и в былые годы.

Август.

Перед крыльцом, на просторных клумбах, разноцветным ковровым узором высажены астры.

12 августа 1871 года.

Афанасьев с Пикулиным выходят на крыльцо. Из сада тянет смолистым дымком. За столом у самовара Николай Михайлович Щепкин с женой; то и дело вскакивая с места, что-то кричит Кетчер.

На верхней ступени Пикулин берет Афанасьева под руку. Не в силах сдержаться, грустно повторяет:

— Редеет круг. Где они — «наши»?..

Кряхтя, начинает спускаться с лестницы.

— Не мы уходим, время наше уходит, — отвечает Афанасьев. — Уже новое время, новые люди.

Афанасьев думает, что «наших» нет уже давно и причина тому — не смерть, не возраст, не долгие разлуки.

Герцен умер в Париже 21 января 1870 года, Перед смертью, в забытьи, он все хотел идти куда-то, спешил, звал за собой.

Перед смертью Герцен встретился в Париже с Василием Петровичем Боткиным, тоже одним из бывших «наших», из «московских друзей». Встретились как чужие, без интереса, с неприязнью даже. Добродушная улыбка исчезла с лица Герцена, всегда открытого и ласкового, выражение глаз стало жестким. Василий Петрович, когда развеялись милые надежды на благие перемены «свыше», стал нападать на вольную печать, на «Колокол», потом и вовсе прекратил сношения с Герценом. Увидя Герцена, он закивал головою, забормотал что-то о старости, о хвори — «едва таскаю ноги, без костыля не могу». Герцен, плотно сбитый, порывистый и легкий в движениях, холодно смотрел на немощного, со злым лицом старика, но думал не о бессильных ногах его, не о костыле, — думал, до чего может одряхлеть человек в том главном, что составляло прежде жизнь его, — в искусстве, в науке, в политике. Герцен писал потом: ему стало «страшно, что люди, шедшие часть своего проселка вместе, расходятся под конец», ему стало страшно при мысли, что когда-то они шагали в жизни по одному проселку. Василий Петрович забормотал что-то об итальянской музыке — «тонко, тонко, изящно», а Герцен вспомнил, как некогда гуляли в Кунцеве… Над полем густыми роями висели комары, юный Васенька Боткин, слывший ценителем всего изящного, раскинув в стороны руки, бежал по тропинке и нежно выкрикивал: «Комарики! Комарики! Взгляните, какими изящными колонками вьются они над нами!» Потом у Герцена было вольное слово, европейские революции, «Колокол», он давно ушел с тех проселков, и путь его был широк и долог, — Васенька так и остался со своими комариками на

прежних тропинках.

Впрочем, и Василий Петрович Боткин успел умереть.

Афанасьев с Пикулиным подходят к столу.

У самовара хозяйничает Александра Владимировна Щепкина.

— А-а, домовладелец! — кричит Кетчер. — Дом купил, а в гости не зовешь!

— Я в этом доме сам гость. Не знаю, надолго ли!

— Неправда! Неправда! Сто лет проживет! — кричит Пикулин.

— Я читала где-то, что на Востоке пьют от кашля смолу терпентинового дерева с медом. Мы всё гоняемся за модными лекарствами, а народные средства проверены тысячелетиями.

Александра Владимировна говорит слишком оживленно.

В последнее время, беседуя с Афанасьевым, знакомые то и дело весело кричат и громко смеются. Афанасьева это сердит.

— В вашем саду есть терпентиновые деревья, доктор? — спрашивает, смеясь, Александра Владимировна.

— Не взошли, сударыня!

Пикулин низко кланяется Александре Владимировне. Потом замечает на краю аллеи свою зеленую леечку, привычно подхватывает ее и ковыляет в кусты.

— Ну, раз нет терпентиновых смол, вот вам чай со сливками.

Афанасьев принимает из рук Александры Владимировны большую чашку. После обеда его всегда познабливает, он пьет чай с удовольствием, по телу разливается тепло и хочется откашляться. Но кашлять на людях неудобно, он сдерживается, и это раздражает его.

Щепкин и Кетчер заводят бесконечный и давний спор об издании Белинского. Издание не закончили.

Афанасьев прихлебывает чай и думает, что хорошо бы поболтать сейчас с Евгением Якушкиным. В последние годы Афанасьев с одним Евгением до конца откровенен. Но Якушкин теперь прочно обосновался в Ярославле, недавно дочь выдал замуж, в Москву наезжает редко. В трудное для Афанасьева время Якушкину тоже досталось: его подозревали в устройстве тайной типографии, в попытке «возмутить крестьян».

Афанасьев не может дольше терпеть — закашлялся.

Суетится Александра Владимировна, подливает горячего чаю.

Пикулин с лейкой появляется у стола, хромая, спешит к Афанасьеву.

Афанасьеву неловко — он хочет что-то сказать, успокоить, но все кашляет, кашляет и только машет рукой.

— Да что вы переполошились! — сердится Кетчер. — Вздор? Я тоже небось лекарь, не хуже вот его (кивает на Пикулина).

Горячее молоко на ночь. Припарки на грудь. И как рукой…

Кетчер вспоминает в эту минуту, как, задыхаясь от кашля, умирал Зелинский.

— Да с таким кашлем…

— Я же говорю, — подхватывает Пикулин, — с таким кашлем сто лет проживет…

Все чувствуют скорый конец, но никто не знает, что в этот вечер, 12 августа 1871 года, здесь, в прекрасном пикулинском саду, Афанасьев схватит простуду и наутро не сможет подняться. И вообще больше не встанет. У Афанасьева впереди месяц и одиннадцать дней.

Кашель наконец стихает.

— Ну вот. Всем только хлопоты, — неловко усмехаясь, говорит Афанасьев.

Жадно пьет горячий чай. И говорит снова:

— Я вроде Колобка из сказки. Катился, катился по дорожке, от бабушки ушел, от волка ушел, от медведя, а лиса подкралась — ам! — и съела.

— Мы все — колобки, — отзывается Александра Владимировна. — У каждого своя лиса впереди: несчастье, бедность, болезнь…

— Тебе, Александр, грех жаловаться, — говорит Николай Михайлович Щепкин. — Вся Россия читает твои сказки.

— Ну, я тут ни при чем. Сказки не мои. Народные, русские. Да, сказку никакой лисе не съесть. Нас не будет, ни детей, ни внуков наших, и дела наши позабудут, нужные людям сегодня, а сказка все будет катиться по дорожкам и тропкам, и не будет ей конца…

* * *

Для среднего и старшего возраста
Порудоминский Владимир Ильич
«А РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ СКАЗКУ?..»
Повесть

Ответственный редактор *Г. Р. Каримова.*
Художественный редактор *С К. Пушкова*.
Технический редактор *Г. А. Подольная.*
Корректоры *К. П. Тягельская* и *М. Б. Шварц*.

Сдано в набор 23/1 1970 г. Подписано к печати 5/V 1970 г. Формат 60X84[1]/16. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 9,33. (Уч изд. л. 8,46). Тираж 100 000 экз. ТП 1970 № 534. А 06143. Цена 38 коп. на бум. № 1.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР.

Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Отпечатано с матриц ф-ки «Детская книга» № 1, Москва, Калининским полиграфкомбинатом детской литературы Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября. 46. Заказ. № 689